

A marble bust of the French philosopher Voltaire, shown from the chest up, seated and looking slightly to the right. He is wearing a long, draped robe. The background is a solid, vibrant red.

Джон Морлей

ВОЛЬТЕР

Джон Морлей

Вольтер

«Кучково поле»

1889

УДК 091
ББК 87.3

Морлей Д.

Вольтер / Д. Морлей — «Кучково поле», 1889

ISBN 978-5-9950-0515-5

Книга английского политического деятеля, историка и литературоведа Джона Морлея посвящена жизни и творчеству одного из крупнейших французских философов-просветителей XVIII века – Вольтера. В книге содержится подробная биография Вольтера, в которой не только представлены факты жизни великого мыслителя, но ярко нарисован его характер, природные наклонности, способности, интересы. Автор описывает отношение Вольтера к различным сторонам жизни, выразившееся в его многочисленных сочинениях, анализирует основные произведения. Немалое внимание уделено отношениям Вольтера с его знаменитыми и малоизвестными современниками. Печатается по изданию: Морлей Дж. Вольтер: пер. с 4-го издания / под ред. проф. А. И. Кирпичникова. М., 1889.

УДК 091

ББК 87.3

ISBN 978-5-9950-0515-5

© Морлей Д., 1889

© Кучково поле, 1889

Содержание

Глава I	6
Глава II	22
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Джон Морлей Вольтер

© ООО «Кучково поле», 2015

*τὰ μὲν γὰρ σωφρόνων ἦθη σφόδρα μὲν εὐλαβῆ
καὶ δικαία καὶ σωτήρια δομιύτητοτ δὲ καὶ τινος
ἰταμότητος ὀξεΐας καὶ πρακτικῆς ἐνδεΐται... τὰ
δ'ἀνδρεΐ ἀγε αὐτὸς πρὸς μεν τὸ δίκαιον καὶ εὐλαβῆς
ἐκείνων ἐπιδεέστερα, τὸ δ'ἐν ταῖς πράξεσιν
δικφεροντως ἴσκει. νάντα δὲ καλῶς γίγνεσθαι τὰ
περὶ τὰς πόλεις, τούτοιιν μὴ παραγεν ομένοιν ἀμφοῖν,
ἀδύνατον.*

Politicus, 311 A

*πότερον τοὺς ἀνδρεΐους Θαρόράλέους λέγεις, ἢ
ἄλλοτι; καὶ ἴτας γε, ἔφη, ἐφ' ἃ οἱ πολλοὶ φοβοῦντας
ἰέναι.*

Protagoras, 349 E

*Благоразумные заправители отличаются в высшей
степени осмотрительностью, справедливостью
и мудрым консерватизмом, но у них не хватает
энергии и необходимой для дела решительности...
С точки зрения справедливости и благоразумия
мужество имеет меньшую цену, но оно важнее для
результатов. Невозможно, чтобы в государстве
очень хорошо шли дела, если благоразумие
не соединяется с энергией.*

Платон. Политик, 311 A

*Называете ли ты мужественными смелых или
кого другого? Да, сказал он, и отважных, которые
идут на то, чего многие боятся.*

Платон. Протагор, 349 E

При ссылках на сочинения Вольтера автор пользовался изданием Бодуэна (Baudouin) 1826 года, семьдесят пять томов. Это издание не следует смешивать с первым изданием Бодуэна, вышедшим в 1824–1834 гг., в девяноста семи томах. О различии между этими двумя изданиями, причем отдается положительное преимущество более многотомному изданию, смотри *Bibliographie Volterrienne* (p. 107) М. Керарда (Quérard). Громадное количество полных и тщательно обработанных изданий сочинений Вольтера, предпринятых и оконченных в период времени между низвержением империи и падением монархии в 1830 году, является одним из самых поразительных фактов в истории книжного дела. – *Примеч. издателя 1-го издания.*

Глава I

Введение

Когда истинное понимание исторической законосообразности будет полнее развито в умах людей, именем Вольтера будет названа эпоха его времени, и это название будет иметь такое же значение, какое имеют Возрождение наук или Реформация, которыми определяются великие и многознаменательные умственные движения в Европе. Жизнь, характер и деятельность этой необыкновенной личности сами по себе создали новую и величайшую эру. Личные особенности гения Вольтера изменили умственное и духовное направление Франции и в некоторой степени всего Запада в такой мере и столь коренным образом, словно вся эта работа была произведена усилиями глубоко скрытых коллективных сил, тогда как в действительности эти силы только способствовали развитию Вольтера. Новый тип веры и ее неперемногого спутника неверия, под влиянием его характера и деятельности, оставил глубокое впечатление в умах и чувствах людей не только современной ему эпохи, но и последующей. Мы думаем, что вольтерьянство во Франции имеет в некоторой степени такое же значение, как католицизм, эпоха Возрождения и кальвинизм. Оно является одной из основ, на которых зиждется умственное освобождение нового поколения.

В начальную эпоху своего существования христианство пробуждало у всякого возвышенные стремления к более духовному, чистому и менее порочному и скоро преходящему существованию, чем какого могут достигнуть сыны человеческие в этом суетном и испорченном мире, и вместе с тем давало удовлетворение этим стремлениям. Оно открывало людям милосердное, всеблагое и всемогущее существо, которое – когда настанет день – загладит все несправедливости и вознаградит за все страдания и которое между тем не требовало от них ничего, кроме любви к тому, кого они не видят, выражаемой в любви к ближним. Великое значение христианства и заключалось в том, что оно подняло нравственное достоинство и уважение к себе в массе до того уровня, до которого только немногие до тех пор возвышались. Спустя много столетий Кальвин, суровый и непреклонный пасынок христианского Бога, ревнуя о божественном достоинстве и во зло употребляемом милосердии своего отца, с беспощадной силой слова освободил умы всех тех, кто, страшась глядеть прямо в лицо ужасным фактам необходимости зла и наказания, заботились более о том, чтобы примирять эти факты с какой-либо теорией любви и бесконечного милосердия Великого Творца. Люди, лишённые энергии и беспомощно запутавшиеся, благодаря верованиям (католицизму), всецело погрязшие в постыдном оптимизме и снисхождении к самим себе, сознали новый стимул в своей нравственной природе, лишь только жизнь представилась для них в виде долгой борьбы скрытых и непреодолимых сил и милосердия, предвечного избрания и предопределения, когда они поняли, что не человеку, жалкому червю и порождению червя, с его поверхностным умом и слабой логикой, примирить неисповедимые пути и дела высшего существа. Католицизм был движением мистического характера; таким же, только еще в большей степени, явился и кальвинизм, заменивший его в столь многих и значительных обществах. И тот и другой много сделали для поднятия человеческого достоинства и облагорожения чувства самоуважения; но вместе с тем и тот и другой угнетали и подавляли свободное проявление ума, жизнерадостную деятельность разума, светлое и многостороннее творчество воображения и фантазии. К счастью, однако, человеческая природа всегда противодействует репрессивной системе, и какова бы она ни была, пролагает себе путь к свободе и свету; научное понимание настойчиво добивается средств и возможности для своего выражения; творческое воображение бессознательно выливается в самых разнообразных формах, которые оно находит повсюду при добром содействии тонкого чувства. Вот в чем источник того яркого света, который озарил Европу в послед-

ней половине пятнадцатого столетия. Прежде чем Лютер и Кальвин, каждый по-своему, резко оттеняя, открыли миру свои новые идеи о нравственном порядке, люди более чем двух поколений почти перестали заботиться о том, существует ли какой-нибудь нравственный порядок, или же его вовсе нет и с восторгом предались наслаждению и созерцанию идей грации и красоты, образы которых давно уже знакомы миру, но все еще полны неувядаемой, по-видимому, новизны и свежести для всякого, кто раз получил доступ к бессмертным дарам искусства, архитектуры и литературы Греции. Если реформация, это великое обновление жизни северной Европы, явилась освобождением личности от оков, наложенных на нее потерявшими уже свое значение общественными суеверными традициями, то эпоха Возрождения – это более раннее пробуждение южной Европы к жизни – дала возможность воспринять благороднейшие общественные традиции свободного разума, какие только предки могли передать потомкам.

Вольтерьянством можно назвать возрождение восемнадцатого века, так как под этим словом понимают как все серьезные недостатки и неудачи этого страшного движения, так и его ужасный взрыв, быстроту, искренность и силу. Жгучие и ослепительные лучи ума Вольтера разбудили гения времен, онемелого и окутанного мраком, подобно угрюмой статуе Мемнона, лишь в тот момент, когда резкий звук лопнувшей струны пронесся над Европой и люди проснулись при новой заре и вздохнули полной грудью. Сентименталисты провозгласили Вольтера насмешником; в глазах присяжных школьных критиков, имеющих всегда наготове под рукой краткие ярлычки, он революционер-разрушитель; для каждой из бесчисленных ортодоксальных сект имя его – символ преддверия ада; ученые представляют его поверхностным и пустым; современная образованность осуждает его за то, что он в своей ненависти ко всякой лжи в сфере духовной является уж слишком серьезным. Люди простые, склонные измерять заслуги философа степенью его сочувствия к данным условиям комфорта большого существования, вообще должны одобрить слова Джонсона, сказавшего, что он скорее подписал бы приговор об изгнании Руссо, чем приговор об изгнании какого-нибудь преступника, давно бежавшего из Ольд-Балы, а разница между Руссо и Вольтером так незначительна, что «трудно было бы определить меру неравенства между ними». Таким образом, люди всяких школ и профессий, смешивающие сильное выражение со строгим осуждением, дерзкую фразу с основательным убеждением, до такой степени были охвачены антипатией к Вольтеру, что невольным образом должны были вызвать у некоторых из них, склонных по природе к юмору, как реакцию противоположное чувство, нечто вроде симпатии. Грубый словарь злобы и ненависти – это отвратительное наследие истории, борьбы мнений – заимствовал многие из своих наиболее громких выражений из критических мнений о Вольтере, а некоторые и от самого Вольтера, к сожалению, не всегда пренебрегавшего следовать худому примеру своего противника.

Однако Вольтер был действительным источником просвещения восемнадцатого столетия; именно он во множестве форм и образов пробудил в современном ему поколении сознание силы и прав человеческого разума. К нему можно применить его же слова, великодушно сказанные им о славном его современнике, Монтескье: человечество растеряло документы на свои права, а он отыскал и возвратил потерянное. Восемьдесят томов, написанные им, послужив средством для нового возрождения к жизни, представляют теперь памятник этого возрождения; они – продукт и свидетельство ума энциклопедической любознательности и плодovitости. Едва ли найдется одна страница среди этих бесчисленных листов, отлившаяся в обыденную форму. Едва ли можно встретить там хоть одну мысль, которая не принадлежала бы вполне уму Вольтера или была бы сказана только потому, что кто-либо иной сказал ее раньше. Нет мыслителя, который в большей мере, чем он, мог бы считаться действительным творцом своих произведений. Конечно, даже у самых оригинальных и отважных передовых людей есть свои предшественники; и ход развития Вольтера был подготовлен уже прежде, чем он родился, как это бывает со всеми смертными. Но на всем сказанном им, будь это хорошее или дурное, лежит печать такой полной самобытности, что все это представляется как бы самопроизволь-

ным, самородным произрастанием какой-то фантастической страны, из недр которой выходят на свет дива и чудища. Многие из высказанных им идей носились уже раньше в воздухе и не принадлежали ему одному, но он так быстро и с таким совершенством усваивал эти идеи, его понимание их было столь тонко и столь всеобъемлюще, а начинания носили такой определенный и независимый характер, что даже и на этих идеях он тотчас оставлял неизгладимую печать своей личности. Одним словом, всякое произведение Вольтера, от первого до последнего, было полно неугасимой жизни; многое в них потеряло уже в настоящее время свое глубокое жизненное значение, но во всяком случае ни одно из его сочинений, мы это должны признать, никогда не было скучным и мертворожденным детищем чужого ума. В его произведениях нет места механической передаче того, что может быть названо ходячей монетой сомнительного достоинства. В области чисто художественной литературы Вольтер является одним из числа немногих великих мастеров, а в стиле остается до сих пор верховным властелином. Но литературное совершенство и многостороннее литературное творчество, какое бы они ни вызывали удивление сами по себе, составляют подобно всем другим чисто литературным достоинствам дарование второстепенного характера и имеют преходящее значение; общество равнодушно предаст их забвению, если только они не были порождением действительно жизненных идей.

Вольтер явился страшной силой не потому только, что его способ выражения не имел себе равного по ясности, и не потому даже, что его взгляд отличался необыкновенной проницательностью и дальновидностью, а потому, что он видел многое новое, чего другие люди искали ощупью и к чему они безотчетно стремились. Но и это еще не все. Фонтенель был также блестящ и проницателен, но он был сдержан, слишком любил спокойствие и семейный очаг и заботливо избегал шума, тревог и опасностей решительной борьбы. Вольтер же всегда находился в первом ряду и в центре битвы. Жизнь его представляет не просто только главу из истории литературы. Он никогда не считал истины сокровищем, которое следует благоراضно утаить в мешке, напротив, он сделал ее боевым лозунгом и открыто начертал имя ее на знамени, которое было много раз изорвано, но никогда не покидало поля сражения.

Таков был характер Вольтера, создавший из него при наступлении благоприятного времени, когда исход сражения не приводил уже более борца в темницу или на костер, действительную силу и доставивший ему не один только пустой призрак литературной славы. Есть что-то в природе людей, что заставляет их равнодушно внимать самым страстным уверениям и убедительнейшим доводам скептицизма из уст тех пророков, которые сами лично уклоняются от раскаленных стрел сторонников официального правоверия. Нечто подобное, быть может, свойство нравственной природы человека, тяготеющей ко всяким действительным проявлениям искренности, а быть может, некоторая особенность просто животного темперамента побуждает людей с жаром воспринимать даже нечто незрелое и несовершенное, если только они видят, что оно служит боевым орудием против всякого духовного гнета.

Сам человек своей личностью человека производит несравненно более сильное впечатление, чем его словами, в чем мы убеждаемся каждый день; и его речи получают возрастающее до бесконечности значение или вовсе теряют какое бы то ни было, смотря по тому впечатлению, которое по тем или иным причинам слушатель получил об уме и нравственных качествах говорящего. Много можно сказать о нравственном складе Вольтера, и в нашей книге нет ни малейшего стремления скрыть, как много он заслуживал порицания. Но несомненно верно то, что он ненавидел тиранию, что он отказался затаить эту ненависть в своем сердце, что он упорно стремился дать выражение своему чувству отвращения и отточить острый меч для своего справедливого гнева – меч, имевший слишком фатальное значение для тех, кто возложил столь тяжкое бремя на жизнь и совесть человеческую. Современники Вольтера сознавали это. Они были задеты за живое, видя, слыша и следя за действительным направлением этих звонких ударов. Правда, он был резок, но зато и прямодушен; он часто прибегал к насмешке, но вместе с тем всегда серьезно относился к сути дела и старательно изучал факты; он не отсту-

пал перед нападением на теологию, но тем не менее всегда воздавал должную дань уважения к религии настолько, чтобы относились к ней как к самому важному вопросу. Это не была театральная пантомима наших дней, где закутанные фантомы-борцы годны лишь на то, чтобы в зловеще-важном молчании выразить жестах невыразимые вещи; это была настоящая борьба! Говорят, что эта борьба была деморализована той злобой, с какой она велась. Это правда. Но разве было бы лучше, если б она деморализовала трусость сердца и ума, когда каждый рыцарь словесного турнира горячо желает, чтоб его считали стоящим под знаменем противной стороны, когда теолог охотно согласен прослыть рационалистом, а свободный мыслитель – человеком, придерживающимся какого-то своего собственного правоверия, когда философское беспристрастие и понимание дошли до крайнего своего предела в доктрине, утверждающей, что все есть в одно и то же время и истинно и ложно?

Человек, подобный Монтеню¹, мог безмятежно, как было уже замечено, почивать на ложе сомнения, довольствуясь спокойной жизнью и оставляя многие вопросы открытыми. Размышления на эту тему, когда они изложены в надлежащей литературной форме, приводят в восторг людей материально обеспеченных и достаточно чутких, чтобы признать существование неведомых областей знания и истины за пределами настоящего и существование призвания выше их собственного призвания. Но это сознание бывает недостаточно сильно и жгуче, чтобы сделать для них решительно невыносимыми как непродуманные компромиссы, основанные на полумыслях и робких заключениях, так и бледные, бесформенные зачатки их социальных симпатий. Бывают положения, когда такое соединение страха и спокойствия, неудержимого стремления и довольства, боязливой отваги и задумчивой лени составляют естественный склад даже высоких натур. Могучий прилив благоприятных условий наступает так медленно, что целые поколения, способные дать искусных и неустрашимых мореплавателей, тщетно ждут той большой волны, которая подымает и выносит народ на новые берега жизни.

Нет ничего для счастья людей хорошего в том, если история каждого века знаменуется или революцией, или медленным внутренним брожением, подготовляющим революцию, и если вся слава, признательность и сочувствие всецело выпадают на долю скептиков и разрушителей общественного порядка. Бурная деятельность эпохи какого-либо великого переворота может кончиться победой, которая никогда не достается без жертв; победа может более чем вознаградить за все потери; жертва может окупиться сторицей; хотя и не всегда, так как, по небрежности, список славных деяний может быть утерян, и благородные усилия, в таком изобилии проявившие себя, напрасно потрачены. Ни в каком случае жертва не является концом дела. Вера, порядок, решительное и постоянное движение вперед – вот условия, которые всякий благоразумный человек стремится усовершенствовать и обеспечить. Но в интересах этого процесса совершенствования мы прежде всего нуждаемся в размышляющем, сомневающемся, критическом типе, а затем – в положительном догматическом разрушителе. «Составляя план действия, полезно усматривать опасности, – сказал Бэкон, – а выполняя его, гораздо лучше не замечать их, если только они не особенно велики». Существуют, как учит нас история, эпохи теоретической подготовки и эпохи практического выполнения – эпохи, когда вполне благоразумен тот, кто действует как можно осторожнее, пролагая новые пути с трудом, терпением и проницательностью, и эпохи решительного движения и мужественной борьбы.

Если Вольтер и пользовался умело и благоразумно своим щитом, то он, однако, понимал, что наступит день, когда следует отбросить в сторону ножны, что настало уже время твердо положиться на свободный человеческий разум для отыскания истины и на добрые инстинкты человека для осуществления социальной справедливости. Он представляет собой один из самых стойких и решительных характеров, для которых сомнение – это болезнь, а умственная робость – невозможность. По старомодным кличкам его считают скептиком, потому что те,

¹ Мишель Монтень (Michel de Montaigne, 1533–1592) был советником парламента в Бордо. – *Здесь и далее примеч. пер.*

кто имел официальное право наклеивать подобные ярлыки, не могли придумать более презрительного имени и не могли допустить, чтобы даже самый дерзкий ум решился перейти, хотя бы под покровительством самого сатаны, за пределы заблуждающегося сомнения или чего-нибудь в этом роде. Но в характере Вольтера было, быть может, так же мало скептицизма, как и в характере Боссюэ² или Батлера³, и стать скептиком он был менее способен, чем де Местр⁴ или Палей⁵. В этом-то и заключается главный секрет его силы, так как человек одной только чистой критики, провозвестник безответных сомнений, может увлечь за собой только единицы. А Вольтер не только дерзко ставил вопросы первостепенной важности, но и смело отвечал на них.

Достояние нашего времени, новая горделивая идея рациональной свободы, как свободы от убеждений, и идея эмансипации понимания, в смысле эмансипации от обязанности решать вопросы о том, истинны ли основные положения или ложны, – такая идея не озарила ума Вольтера.

В такой же самой мере Вольтер обладал и угодливым умом светского человека, склонного при всей своей посредственности и легкомыслии открывать и провозглашать во всеуслышание законы прогресса, и подобно диктатору устанавливать быстроту его развития. Кому не известен этот характер светского человека, самого худшего врага своего света? Кому неизвестны его крайняя снисходительность к злоупотреблениям, лишь бы от них страдали только другие, – его защита верований, которые далеко, быть может, не настолько истинны, как того может желать всякий, и учреждений, которые вовсе не настолько полезны, как о том могут думать некоторые; его сердечное влечение к прогрессу и усовершенствованию вообще и его холодность или даже антипатия к каждой прогрессивной мере в частности; его жалкая надежда, еле дающая себя знать, что жизнь когда-нибудь станет лучше, рядом с его же подавляющим убеждением, что жизнь эта станет скорее бесконечно хуже? Для Вольтера, далеко не похожего на подобного человека, предрассудок не является предметом, к которому следует относиться с учтивым равнодушием, но действительным злом, которое надо поражать и уничтожать, пользуясь всяким случаем. Жестокость не представлялась для него неприятной мечтой собственной фантазии, от которой он мог бы избавиться себя, вызывая в себе сознание собственного благополучия, но живым пламенем, сожигающим его мозг и расстраивающим его душевный покой. Несправедливость и неправда не были одними только словами в его устах: они, как нож, проникали в его сердце и он страдал вместе с жертвой и пылал деятельной злобой против притеснителя.

Не одна только грубая жестокость инквизитора или политического деятеля, совершающих беззаконие при помощи физического насилия, являлась в его глазах оскорблением всего мира, возбуждавшим его негодование. Он обладал достаточной проницательностью и достаточной глубиной мысли, чтобы понять, что самые пагубные враги рода человеческого – это те угрюмые ненавистники логики, которые завладевают ключом познания лишь для того, чтобы изгнать истину на второй план. Он был убежден, что препятствия, оказываемые энергическому развитию и широкому распространению научной истины, по меньшей мере столь же вредны для общественного блага, как и несправедливое лишение людей жизни, ибо если что придает как самой жизни, так и ее сохранению наибольшую цену, то это именно обладание все в большей и большей степени истиной. Не должны ли мы допустить, что он был прав, и что во все века приверженцы всяких учений и отдельные личности, опасавшиеся – как опасается каждый честный человек – причинить какое-либо зло своему ближнему, в такой же мере не страшись бы погасить хотя бы единый луч великого светила знания?

² Боссюэ (Jacques Bénigne Bossuet; 1627, Дижон – 1704, Париж), французский проповедник и историк.

³ Батлер (Samuel Butler, 1612–1680), английский поэт, автор Гудибраса, враг пуритан и горячий реалист.

⁴ Жозеф де Местр (Joseph de Maistre, 1754–1821), философ и публицист школы реакционеров.

⁵ Уильям Палей (William Paley, 1743–1805), английский мыслитель. Первое его крупное произведение «Moral and political Philosophy» вышло в 1785 г.

Вполне достаточно вспомнить, что в эпохи мрака и невежества, подобные, например, двенадцатому столетию, ни сожигатели книг, ни мучители тех, кто писал эти книги, не понимали, что они совершают беззаконие над человеком или что они наносят вред истине. Едва ли возможно отрицать, что С-т Бернард был добрый человек, да и нет никакой нужды отрицать это; известно ведь, что добрые побуждения благодаря нашей великой слепоте и медленности распространения просвещения приводили к тяжким опустошениям в мире. Идея справедливости по отношению к еретикам существовала в то время в такой же мере, в какой она существовала в уме белого человека, находящегося на низкой ступени развития в отношении негра, или в какой существует в охотнике чувство жалости к своей добыче. Короче сказать, времена общественной жестокости были вместе с тем и временами умственного гнета. В такие времена каждый в отдельности так же слабо сознавал свою обязанность по отношению к ближнему, как все вместе свой долг по отношению к разуму и социальным чувствам. Времена, когда такова была всеобщая идея о правах человеческого разума, были вместе с тем временами, когда человеческая жизнь стоила очень дешево, и скудная чаша человеческого счастья проливалась наземь без всякого сожаления.

Связь между двумя идеями: идеей неуважения к правам человека и идеей неуважения к человеческому разуму, важнейшему отличительному признаку человеческой природы, была неразрывна. Обратное положение, к несчастью, бывает справедливо только с некоторой оговоркой, так как было много людей, которые относились с достойным похвалы уважением к доказательствам вообще и с надлежащей приязнью ко всяким предположениям, но которые, однако, смотрели на права человека если и без всякого презрения, то вместе с тем и без всякого сердечного участия. Для Вольтера слова: разум и человечество – составляли одно и то же понятие, а любовь к истине и страсть к правосудию – одно и то же чувство. Никто из знаменитых людей, боровшихся за свое право свободно мыслить и открыто выражать свои мысли, не видел яснее Вольтера, что основной целью этой борьбы всегда было дать возможность другим жить счастливо. Кто не был тронут этими удивительными словами, сказанными им относительно трех лет безуданной работы, посвященной им ради целей правосудия, делу вдовы и потомков Каласа: «В течение этого времени, – сказал он, – я ни разу не улыбнулся, не упрекнув себя в том, как в преступлении», – или же его искренним признанием, что из всей массы энтузиазма и удивления, с какой его встретил Париж в последнюю знаменитую его поездку в 1778 году, ничто так не подействовало на его сердце, как слова женщины из народа, которая в ответ на вопрос об имени того, за кем следует толпа, сказала: «Разве вы не знаете, что это защитник Каласа?»

То же самое чувство, хотя и в поступках значительно менее безукоризненно благородных, лежало в основе многочисленных усилий Вольтера добиться значения и в важных политических делах. Известно, как много едких сарказмов вызывали его стремления в разные времена взять на себя роль дипломатического посредника между французским правительством и Фридрихом Вторым. В 1742 году, после посещения прусского короля в Ахене, Вольтер говорит, что человек, написавший поэму или драму, не становится чрез это неспособным служить своему королю и отечеству на деятельном политическом поприще; в этом видели намеки на кардинала Флери. После смерти Флери, в следующем году, когда счастье Франции в войне за австрийское наследство стало сильно изменять, Вольтер думал, что он сам мог бы быть полезен своей дружбой с Фридрихом, и это мнение, кажется, разделял и государственный секретарь Амело (Amelot). Вообще Вольтер старался при всяком случае принять активное, хотя и крайне ничтожное, участие в дипломатии. Позднее, когда времена изменились и звезда Фридриха стала меркнуть от неудач, мы снова видим Вольтера ревностным посредником, вместе с Шуазелем, Вольтера, шутивно сравнивающего себя с мышью, которая деятельно старается освободить льва из тенет охотника.

Литераторы, обыкновенно неспособные представить себе более возвышенное служение роду человеческому или более привлекательные цели для талантливых людей, чем составление книг, отнеслись к этим притязаниям Вольтера с некоторого рода надменной критикой, которая, не говоря нам ничего нового о Вольтере, свидетельствует между тем о чрезвычайно узком понимании положения исключительно литературной жизни, среди жизни вообще и тех условий, при которых создаются наилучшие литературные произведения. Действительное содействие, например, хотя бы в малейшей степени, миру между Пруссией и ее врагами, в 1759 году, оказалось бы неизмеримо большей услугой роду человеческому, чем какое бы то ни было произведение, которое мог бы написать Вольтер. Но еще большего внимания заслуживает то обстоятельство, что сочинения Вольтера явились той силой, какой они были на самом деле, только благодаря его постоянному стремлению стать в самые близкие отношения к практическим делам. Кто никогда не покидал жизни затворника и, проживая в каком-либо отдаленном поместье на доходы от своего капитала, теоретически строил прошедшее, настоящее и будущее из собственного своего сознания, тот не способен быть надежным руководителем рода человеческого и правильно судить о ходе человеческих дел. Каждая же страница сочинений Вольтера, напротив, свидетельствует о напряженнейшем внимании к текущей человеческой жизни; инстинкт, побуждавший его искать общества выдающихся деятелей на великой мировой сцене, был существенно верным инстинктом. Писатель имеет большое преимущество, располагая возможностью уверить прямо или косвенно людей в том, что истинный их верховный вождь есть он и что Священный певец – более могущественный человек, чем воспеваемый им герой. Вольтер, однако, понимал дело правильнее. Хотя сам он был, быть может, одним из величайших писателей, какие когда-либо существовали, тем не менее он ценил литературу, как и следует ее ценить, ниже практической деятельности, – не потому, чтобы писанное слово имело меньшую силу, но потому, что размышление и критика, оказывающие существенное влияние на жизнь, требуют, однако, в далеко меньшей степени, чем действительное руководство великими делами, качеств, встречающихся в отдельности часто, но удивительно редких в совокупности, как-то: хладнокровия, пронизательности, твердости и решительности – одним словом, силы ума и силы характера. Гиббон⁶ сделал верную поправку к своей мысли, сказав, что Боэций не спустился, но, правильнее, поднялся от жизни, проводимой в спокойном размышлении, к активному участию в государственных делах. В том, что Вольтер придерживался этого здравого убеждения, и лежит объяснение, с одной стороны, его стремлений сойтись поближе с людьми государственными, а с другой – ходячего мнения о пролазничестве Вольтера. «Почему – спрашивает он, – древние историки отличаются такой полнотой и ясностью? – Потому что писатель того времени имел значение в общественных делах; потому что он мог быть правителем, жрецом, воином; потому что он, если и не мог подняться до высочайших государственных функций, мог, по крайней мере, выработать из себя человека, достойного их. Я допускаю, заключает он, что мы не должны рассчитывать на такое выгодное положение для нас, так как наше государственное устройство против этого»; но вместе с тем он глубоко чувствовал потерю такого преимущества⁷.

Короче, где бы и что бы люди ни делали и ни думали, в каком бы то ни было отношении, все это имело действительное и жизненное значение для Вольтера. Все, что могло бы заинтересовать какого-либо предполагаемого человека, имело интерес и для него. Все, что составляло когда-либо предмет забот для какой бы то ни было группы людей, было одинаково близко и Вольтеру, раз его мысль останавливалась на нем, и благодаря только такому громадному запасу жизнедеятельности в себе он наполнил жизнью целую эпоху. Чем внимательнее изучаешь раз-

⁶ Эдуард Гиббон (Edward Gibbon, 1737–1794), величайший английский историк.

⁷ Oeuvres (Oeuvres complètes de Voltaire, 70 vol. – Полное собрание сочинений Вольтера. 1785. В 70 т. – Примеч. ред.) Vol. XXV, p. 214.

личные движения этой эпохи, тем яснее становится, что если он и не был самобытным центром и первоначальным источником всех этих движений, то во всяком случае он проложил для них многие пути и подал сигнал. Он был начальной причиной брожения в течение всего времени этих бурных движений. Мы можем сожалеть (если таково наше отношение), как сожалел Эразм в письме к Лютеру о том, что великий переворот не создается медленной, спокойной работой, без насилий и жестокостей. Эти кроткие сожаления бессильны и в общем действуют расслабляющим образом. Постараемся лучше дать себе отчет в том, что существует в действительности, чем искать оправдания своей снисходительности к себе в мечтательном предпочтении чего-то такого, что могло бы быть. Фактически в этом великом круговороте событий то, что только могло бы быть, есть в сущности то, чего, проще говоря, не могло быть, и для нас совершенно достаточно знать это. Не в человеческой власти выбирать тех людей, которые от времени до времени получают наибольшее влияние на переворот первостепенной важности. Сила, решающая дело столь чрезмерного значения, является как бы простым случаем. В точном смысле слова мы ни один факт не имеем права назвать случайностью, однако история полна фактами, которые при нашем настоящем незнании причин являются как бы случайностями.

В этом отношении история находится в таком же, ни лучше, ни хуже, положении, как и новейшее объяснение происхождения и состояния всего органического мира. Здесь все мы подходим к конечному выводу, по которому все есть не что иное, как случайность. Естественный отбор, или переживание наиболее приспособленного в мировой борьбе за существование, считается в настоящее время самыми компетентными судьями главнейшей причиной, обуславливающей уничтожение, сохранение и распределение органических форм на земле. Но появление как тех форм, которые являются победителями, так и тех, которые погибают, все еще остается тайной, а для науки случайность и тайна, и сами по себе и временно, есть одно и то же. Короче говоря, существует неизвестное начало, лежащее в основании разнообразия форм творения. Так и в истории, возвышение Римской или Итало-Греческой империи было спасением для всего Запада, но тем не менее появление в тот момент, когда анархия угрожала быстрым разрушением Римскому государству, человека, способного понять наилучшим образом сущность необходимого нового строя, имело такой же характер случая, как и непоявление людей с подобной же силой и с таким же предвидением в эпохи столь же важных кризисов предшествующих и позднейших. Появление такой великой творческой силы, какой был Карл Великий в восьмом столетии, едва ли может убедить нас в том, что раз потребность существует, то она неизменно вызывает такого руководителя, какого требуют условия времени; так как стоит только вспомнить, что условия конца восьмого века не отличались существенным образом от условий начала шестого века и однако же в более раннюю эпоху не появлялось ни одного преемника Теодориху, способного продолжать его работу. Достаточно исследовать происхождение и основные условия тех типов цивилизации, по которым управляются западные общества и по которым совершается их движение вперед, чтобы заметить в этих самобытных условиях что-то неисповедимое, некоторый элемент того, что является как бы случайным. Никакая наука до сих пор не может еще объяснить нам, как из всего предыдущего ряда существ произошло такое видоизменение, как человек; тем более история не в силах объяснить закон, по которому произошли наиболее поразительные видоизменения в сфере умственных и душевных качеств в роде человеческом. Появление видоизменений как одного, так и другого рода есть факт, который не может быть исследован до основания. Трудно вообразить себе земной шар не населенным людьми или же населенным, как может случиться в отдаленном будущем, существами, обладающими настолько более усовершенствованной организацией, чтобы вытеснить человека. Трудно также представить себе, чем была бы в настоящий момент Западная Европа и все те обширные страны, которые озаряются светом ее, если бы природа или неведомые силы не произвели Лютера, Кальвина или Вольтера.

То, что во Франции по смерти Людовика XIV явился человек со всеми теми особенными умственными дарованиями, какими обладал Вольтер, соединявший их с неутомимой деятельностью, пользовавшийся, кроме того, долгой жизнью, что имел возможность развить свои умственные силы до самого крайнего их предела, какой только возможен, – это была одна из счастливых случайностей. Такая комбинация физических и умственных условий, столь удивительно благоприятствовавших развитию вольтеровских идей, была обстоятельством, не зависящим от состояния окружающей атмосферы, – обстоятельством, которое могло быть по справедливости названо провиденциальным. Если бы Вольтер видел все то, что он видел действительно, но был бы ленив, или если бы он был столь же проницателен и столь же деятелен, каким он был действительно, но прожил бы лишь пятьдесят лет вместо восьмидесяти четырех, – вольтерьянство никогда бы не пустило глубоких корней⁸. Но благодаря его гению, трудолюбию и долговечности, при тех условиях, какие имели место в действительности, широко распространившееся движение стало неизбежностью.

Итак еще раз, мы не можем выбирать. Те, кого темперамент или воспитание делают сторонниками нерушимого порядка, не в силах дать прогрессу постепенное и гармоническое движение, какое наиболее им нравится и какое они, быть может, и вправе считать движением, наилучше обеспечивающим достижение цели.

Освобождение человеческого разума, подобное вольтерьянству, может быть только результатом движения многих умов, а между ними лишь немногие действуют под влиянием умеренных, логических и научных умозаключений, масса же ищет крайних выводов. Следуя внушениям своей фантазии и симпатий, а не строя дисциплинированного ума, люди поражаются только тем, что ярко и колоссально. Они хорошо знают свои собственные нужды, а лучшие стремления их остаются безмолвными. Их живые, но незрелые мысли бродят во мраке, но под влиянием инстинкта они устремляются вперед – в ту сторону, где тьма, как кажется им, начинает рассеиваться. Они плохие критики и не искусны в анализе, но когда настает время, они никогда не ошибаются узнать слова: свобода и истина, с каким бы несовершенством эти последние ни были высказаны. Никогда какому-либо вполне лживому пророку не удавалось еще обмануть целый ряд поколений, не удавалось разделить нацию на две резко отличающиеся половины. Вольтер же на самом деле успел в этом и на целое столетие разделил самые эмансипированные нации запада на два лагеря. Этого не в силах сделать тот, кто только осмеивает все и кто так же быстро исчезает, как промелькнувшая молния, а не становится центром солнечного света.

Существует много различных направлений вольтерьянства, но ни одно из них, как бы оно ни было близко еще к великому циклу старых идей, не может прямо или косвенно не считать себя обязанным первому освободителю, хотя бы в этом менее всего желали бы признаться представители. Все писавшие о Вольтере обращали внимание на бесчисленное множество изданий его сочинений – множество, в сравнение с которым не могут идти никакие другие издания авторов в такой же самый промежуток времени. Он один из самых плодовитых писателей, и вместе с тем издания его сочинений принадлежат к самым дешевым. Вы можете приобрести одну из книг Вольтера за несколько полупенсов, и хозяин дешевых книжных лавок в дешевых кварталах Лондона и Парижа скажет вам, что такая дешевизна несколько не зависит от недостатка спроса, но как раз напротив. Так ярко для многих даже в настоящее время горит еще этот светоч, который с научной точки зрения должен считаться потухшим и для многих на самом деле уже давно потух и заменен другим. Причина такой жизненности заключается в том, что сам Вольтер жил полной жизнью в то время, когда работал над своими творениями, и в том, что движение, вызванное его творчеством, еще не исчерпало всего содержания.

⁸ Comte A. Philosophie positive, p. 520.

Чем же следует характеризовать это движение? Историки католической церкви обыкновенно начинают свое повествование рассказом о растлении человеческой природы и общественном разложении, предшествовавших новой религии. Подобным же образом и значение реформации может быть понято только тогда, когда мы обратим внимание на всю необъятную массу суеверия, несправедливости и упорного невежества, которые покрыли теологическую идею католической церкви столь толстой корой, что сделали ее совершенно негодной для руководства обществом, так как она с одинаковой силой отталкивала как интеллектуальное мышление, так и нравственное понимание, как знание, так и чувства лучших и наиболее развитых людей того времени. Таким же точно путем может быть понято и оценено и громадное значение Вольтера. Франция переросла уже формы своей средневековой жизни. Дальнейшее ее общественное развитие было роковым образом приостановлено тесными оковами старого строя, которые жали ее и упорно впились в нее, подобно прожорливому паразиту, извлекающему из корней все их питательные элементы, разъедающему ткань и высасывающему все соки живого дерева. Часто рисовали эту картину, и нам нет надобности пытаться еще раз воспроизвести ее во всех подробностях. Все общественные силы и весь общественный строй были в союзе с заклятыми и патентованными врагами света, все интересы которых, порождаемые желанием разделить власть и богатство, заключались в одном: удержать разум в подчиненном положении. И что было еще важнее, сама нация не проявляла никакого признака, что она сознает существование необъятной области знания, лежащей непосредственно перед ней, и еще менее – хотя бы малейшего желания или намерения достигнуть прочного обладания этой областью. Та умственная пытливость, которая так скоро дала столь удивительные плоды, не обнаруживала еще признаков жизни. Эпоха необыкновенной деятельности только что закончилась; творческий и артистический гений Франции поднялся до высочайшей степени, какой он когда-либо достигал раньше начала нашего столетия. Великий век Людовика XIV был веком блестящей литературы и неподражаемого красноречия. Но, несмотря на плодотворное семя, посеянное Декартом, это был век авторитета, протекции и патронатства. Следовательно, все те, которые находились вне покровительства, то есть все те, которые ничего не могли придать к блеску и достоинству церкви и пышности двора, тем самым подпадали под давление гнета. Это не должно, однако, затемнять для нас действительное величие более ранней и лучшей поры правления Людовика XIV. Указывали уже на то, что существеннейшая заслуга Людовика XIV перед потомством заключается в покровительстве, которое он оказывал Мольеру; основание же, почему это заслуживает особой похвалы, состоит в том, что покровительство оказывалось, несмотря на резко критический характер сочинений Мольера, направленных как против ханжи и лицемера, так и против царедворца. Но этот факт, заключающий в себе элементы критики и будучи потому наиболее ценным достоянием того времени, не имеет значения для общей положительной характеристики века Людовика. Мольер является критиком случайно; в нем нет ничего органически отрицательного, и его комедии – просто изображение в драматической форме особенностей данной цивилизации. Нарисованные им ханжи и нахалы не делают из него в большей мере разрушительной и критической силы, чем Боссюэ, который восставал против греха и излишеств человеческого тщеславия. Эпоха эта была от начала до конца верна себе и своим идеям. Сам Вольтер обратил внимание на эти черты и удивлялся им. Величайший из всех разрушителей, он понимал, что все наши усилия направлены именно к достижению таких моментов, какой представляло то время кратких моментов веры и самоуверенности. Мы боремся из-за того, чтобы другие могли наслаждаться; и многие поколения борются, спорят из-за того лишь, чтобы одно из них могло считать кое-что за вполне доказанное и проверенное.

Слава века Людовика XIV состояла в высшем развитии тех идей, которые немедленно вслед за тем потеряли свою прелесть, значение и силу влияния на человеческие умы. Благородная и почтенная иерархия, августейший и могущественный монарх, двор с веселой и утопающей в роскоши знатью – все лишилось обаяния, когда пред изумленными взорами людей

внезапно предстал страшный фантом, полный реальной действительности, – фантом гибели нации. От речей Боссюэ до «*Détail de la France*» Буагильбера, от мягких напоминаний с ораторской кафедры о том, что даже величество должно умереть, до жалости Вобана к бедствиям простого народа⁹; от Корнеля и Расина до художественного изображения Лабрюйером¹⁰ «некоторых диких животных мужского и женского пола, рассеянных по полям, – грязных, истощенных, опаленных солнцем, прикованных к той земле, которую они копают и пахут с непоколебимым упорством животных, которые обладают некоторой способностью произносить членораздельные звуки и, подымаясь на ноги, предъявляют человеческое лицо, да и на самом деле суть люди»: этот контраст существовал уже в течение целых поколений. Но физические бедствия, причиненные войнами Людовика XIV, усилили темные стороны, а блеск гения, обреченного на прославление традиционного авторитета и строя того времени, усилил, в свою очередь, яркость светлых сторон, – и давно существовавший контраст вдруг ясно предстал пред изумленными взорами немногих; в то же время медленно стала выдвигаться вперед, хотя и в бледных очертаниях, новая и глубочайшая проблема, имеющая в них поднять нашу цивилизацию до высоты, о которой немногие даже и в настоящее время могут дать себе отчет.

Нет основания предполагать, что Вольтер постоянно видел перед собой это поразительное и ужасное зрелище; первый о нем заговорил Руссо и, начиная с Руссо, ни государственные люди, ни философы, обладающие достаточной проницательностью, чтобы видеть даже и то, чего они страшились или что ненавидели в душе, не выпускали уже из виду задач относительно реорганизации общественных отношений. Задача же Вольтера была другого рода, она имела подготовительный характер: сделать популярным гений и авторитет разума. Основы общественного здания были таковы, что прикосновение к ним сразу же имело роковое значение для всего строя, который тотчас же и начал распадаться на мелкие куски. Авторитет и обычай оказывают упорное и непреодолимое сопротивление разуму лишь до тех пор, пока учреждения, которым они покровительствуют, действительно приносят явную пользу обществу. Но по смерти Людовика XIV стало заметно пропадать не только очарование и блеск, но и сознание общественной пользы духовного и политического абсолютизма. Духовный абсолютизм оказывался неспособным поддерживать даже наружным образом согласие и порядок в теологическом отношении, а политический абсолютизм благодаря своим чрезмерным издержкам, своему всевозрастающему стремлению подавлять личную энергию и мысль в общественных делах, своей международной политике, которая являлась пустой и бесплодной по своим целям, злополучной и неспособной в выборе средств, быстро расточал источники национального благосостояния и злонамеренно подрывал самый корень общественной жизни. Внести разум в столь тяжелую атмосферу значило, употребляя старинное образное выражение, впустить воздух в комнату с мумиями. А то, что принес с собой Вольтер, было именно разум, – слишком, если хотите, односторонний, слишком задорный, чересчур насмешливый и неумолимо рассудительный, но все же разум. Кто измерит последствия того различия, которое имело место в истории двух великих наций: во Франции духовный и политический абсолютизм пал пред мощным гением чистого разума, тогда как в Англии он уступил под давлением общественной выгоды ввиду протестов против монополий, беневоленций¹¹ и корабельной пошлины (*shipmoney*). Во Франции теория завладела всеми общественными вопросами, прежде чем был сделан хотя один шаг к ее приложению, тогда как в Англии общественные принципы прилагались прежде, чем они получали какое-нибудь теоретическое оправдание. Во Франции первым действительным врагом принципов деспотизма был Вольтер – поэт, философ, историк, критик; в Англии

⁹ Вобан и Буагильбер: см.: *Daire E. Les Economistes financiers du XVIII siècle*. 1851.

¹⁰ *Лабрюйер* (La-Bruyère, 1639–1696), знаменитый своими «Характеристиками». См. другие подобные же цитаты у Тэна: Происхождение общ. строя современной Франции. СПб. 1880. С. 429 и след.

¹¹ Беневоленции (*benevolences*) – подать, взимавшаяся в прежнее время в Англии под видом добровольного приношения.

– кучка простых дворян (squires). Правда, традиционный авторитет во Франции был подорван хотя отчасти, но роковым образом еще до Вольтера одним из самых смелых мыслителей и одним из самых пронизательных и проникнутых скептицизмом ученых; под него подкапывались и писатели, обладавшие остроумной беззаботностью Монтеня, и апологисты-рационалисты, подобные Паскалю, давшие место и значение самому сомнению, указав на весь мрак и безбрежность пучин его. Трактат Декарта о «Метод» был издан в 1637 году, а рассуждение Бейля о «Комете» (Bayle's «Thoughts on the Comet»), первый удар в ряду критических нападения на предрассудки и авторитет в делах веры, было опубликовано в 1682 году. И метафизик, и критик – оба выступили на путь исследования, и каждый настоятельно стремился или найти основания для веры, или же обнаружить с фатальной ясностью отсутствие таковых. Декарт занялся умозрительными настроениями и склонялся к тому, чтобы примирить известный ряд идей об отношениях между человеком и вселенной и о виде вселенной и ее образовании с логикой разума. Бейль, предшественниками которого и окружающей средой были протестанты, заботился не о замене одних доказательств другими, но о том, чтобы иметь ясное доказательство по отношению ко всему, существование чего может быть допущено. Я не имею в виду здесь проводить какую-либо параллель или делать намек на равенство между редким гением Декарта и относительно менее совершенными талантами Бейля. Какое бы большое значение мы ни придавали возрождению мысли, произведенному Бэконом в Англии, или же тому, которое было вызвано блестящей группой экспериментаторов в Италии, но, однако, Декарт отмечает собой новую эпоху в развитии человеческого ума, потому что он резко отделил науку от теологии и установил систему знания, а Бейль имеет значение лишь в истории развития критицизма. Тем не менее хотя и далеко различными путями и при громадном несходстве умственных способностей, но и тот и другой губительным образом затронули идеи, господствовавшие во Франции.

Однако же удар, окончательно рассеявший и уничтоживший эти идеи, был нанесен не Декартом и Бейлем, а непосредственно Вольтером и косвенно под влиянием Англии. В семнадцатом столетии почва еще не была достаточно подготовлена. Социальные требования еще не тяготели над обществом. Органы власти были все еще в полной силе и выполняли свои обязанности не с тем механическим равнодушием, каким характеризуется следующее столетие. Принятию скептических идей, как идей дружественных и освободительных, необходимо должно было предшествовать продолжительное знакомство с ними как с идеями враждебными. Они, быть может, никогда ни в каком обществе не получали значения, пока не находили себе союзников во вражеском лагере официальной ортодоксии, и притом, когда эта ортодоксия была еще в состоянии оказывать им сильное общественное сопротивление. Универсальные способности Вольтера создали одно из самых могущественных орудий для проведения этих смелых и пытливых идей в среду людей различных классов и состояний, считая в том числе как многочисленный круг обычных читателей и посетителей театра, так и более ограниченный – знати и правителей; и еще более: блеск и всесторонность его дарований привлекали и возбуждали большинство писателей того времени, давали им определенное направление и сообщали им в некоторой степени свойственную только Вольтеру ловкость в проведении принципов рационалистического мышления.

В результате всего этого оказалось, что громадное число лиц, бывших официально врагами свободной критики, сделались в душе соумышленниками и соучастниками великого заговора. Этот факт, в соединении с независимыми от него причинами, как неспособностью лиц, державших власть в своих руках, так или иначе отвечать на вопиющие общественные потребности того времени, был причиной того, что стены Капитолия оказались подкопанными и беззащитными, и только немногие из священных гусей, все еще оставшихся верными, бесполезно гоготали. В первые века влияние христианства, как на это часто указывали, сказывалось даже на тех людях, которые менее всего или вовсе не были тронуты его учением, во всем, что только было в них светлого и правдивого. Еще более верно, что личность Вольтера благодаря

ее необыкновенной силе наложила свой отпечаток на склад и жизнь даже тех, кто наиболее упорно держался старого порядка. Поборники авторитета принуждены были поневоле защищать свое дело непривычным для них орудием – рационализмом, и если бы не было Вольтера-писателя, то авторитет никогда бы не имел на своей стороне такого бойца, как, например, Жозеф де Местр, самый знаменитый и способный из реакционеров. В ответ на излюбленное утверждение защитников католицизма, что все хорошее в его врагах есть результат того самого учения, которое они отвергают, можно, по меньшей мере, столь же справедливо утверждать, что заметное изменение к лучшему в самом духовенстве и в его стремлениях в период времени между регентством и революцией¹² есть услуга, невольно оказанная католицизму теми справедливыми и либеральными идеями, распространению которых так могущественно содействовал Вольтер. Де Местр сравнивает разум, отрицающий теологическое предание, с ребенком, бьющим свою кормилицу; но то же самое сравнение и в такой же мере можно применить и к вере, оказавшей неблагодарность тому разуму, который ее очистил и возвысил.

В перевороте, произведенном Вольтером, наиболее поразительно то, что это единственный в истории великий переворот, который ничем не был связан с аскетизмом и совершил все свои победы, не прибегая к этому средству столь могущественному, непреодолимому и удобному, но вместе с тем и столь опасному. Такие революции всегда бывают реакцией против всеобщей испорченности нравов и мрака невежества. Они являются энергическим протестом наиболее возвышенных способностей и стремлений человеческой природы; но в продолжение некоторого времени – и это как бы неизбежное следствие всякого могучего движения – они, кажется, всецело сосредоточиваются на уничтожении тех партий противоположного лагеря – партий, которые, по-видимому, внесли жизнь в эту среду унижения и позора. С непреклонным гневом и решимостью в душе люди вовсе не заботятся о том, чтобы объяснять, сглаживать резкости и поступать сдержанно, и под влиянием одного из наиболее поразительных инстинктов нашей природы прибегают к системе умерщвления плоти, которая, по их мнению, может очистить души от заразы, царящей вокруг грубости. В таком восторженном состоянии духа, находят спасение только в удалении из общественной жизни, углублении в дела личной совести и суровом отрешении от всех мирских желаний. Немного найдется таких типичных честных людей, которыми по временам – даже в эпохи, наименее проникнутые аскетическим и реакционным духом, и в то время, когда с точки зрения более непосредственной и широкой теории все идет нормальным ходом – не овладевало бы подобное состояние духа: страсть к простоте, строгость к самому себе, дисциплина, во всех мелочах, точная регламентация и действительная чистота жизни.

Вольтерьянство, однако, было чуждо малейшего оттенка аскетизма. Паскаль заметил, что умеренные мнения, именно потому, что они умеренные, так приятны людям, что было бы удивительно, если бы они когда-либо оказались неприятны. На это Вольтер возражал: «Напротив, разве опыт не доказывает, что влияние на умы приобретает только в том случае, когда предлагают людям сделать что-либо трудное и даже невозможное, или же уверовать в его возможность? Предложите им что-либо лишь просто не противоречащее здравому смыслу, и весь мир скажет вам: «да мы это и сами знаем». Но укажите им на что-либо трудное, непрактичное, изобразите божество вечно вооруженное громом, заставьте кровь литься пред алтарями – и вы обратите внимание толпы, и каждый скажет о вас: «он, несомненно, прав, иначе он не пропо-

¹² «Je ne sais si, à tout prendre, et malgré les vices éclatants de quelquesuns de ses membres, il y eut jamais dans le monde un clergé plus remarquable que le clergé catholique de France au moment où la Révolution l'a surpris, plus éclairé, plus national, moins retranché dans les seules vertus privées, mieux pourvu de vertus publiques et en même temps de plus de foi: la persécution l'a bien montré». («И если все принять во внимание, то, несмотря на все поразительные пороки некоторых из его членов, я не знаю, было ли когда-нибудь в мире духовенство более замечательное, чем католическое духовенство Франции в тот момент, когда ее охватила революция, – более просвещенное, более народное, менее удовлетворяющееся одними личными добродетелями, наиболее одаренное добродетелями общественными и в то же время верой: преследование ясно показало это»). *De Tocqueville A. Ancien régime*, liv. II, ch. II.

ведовал бы так смело столь удивительные вещи»¹³. Итак, влияние Вольтера вытекало из обращения его не к тем сторонам человеческой природы, на которых строят дело свое приверженцы аскетизма; напротив, прямо и косвенно он указывал на полное проявление, на всестороннюю деятельность всех способностей человеческой природы, и это ключ ко всему его учению. Он не обладал ясностью и спокойствием эллинского мирозерцания, но зато он обладал эллинской восторженностью во всякой сфере умственной деятельности, и эту смелую пылкость духа он делал общим достоянием.

Вспомним, что вольтерьянство прежде всего и по непосредственному своему значению было только умственным движением, так как вначале оно явилось прямой реакцией против подчинения умственной стороны человеческого духа стороне нравственной, – подчинения, которое было доведено до крайности. Истинны ли наши мнения, вполне ли они отвечают существующим фактам, не противоречат ли друг другу? Сияет ли нам разум неподдельным светом знания и поддерживаем ли мы более всего нашу склонность к критическому анализу, усовершенствованию и распространению знания и средств его приобретения? Вольтерьянство имело в виду эти вопросы. Система же, для которой все это было резкой антитезой ее собственной формулы, всегда, даже и в наименее мрачных своих выражениях, зорко оберегала обширный круг наиболее важных фактов от пронизательного взора того духа исследования, которым благодаря вольтерьянству люди научились пользоваться при обсуждении всякого предложенного им положения.

В течение многих столетий истину понимали как природу реального, всеобщего (*real, universal*), о которой люди имели полное представление. Истина органически была одна; отношения людей ко всему сверхъестественному, их взаимные отношения друг к другу, отношения вещей во внешнем мире – все постигалось в едином синтезисе, в пределах которого и подчиняясь которому совершалось всякое умственное движение. Постепенно развивающийся дух исследования разрушил этот синтезис, и философы, занимающиеся упорно не одними только естественнонаучными изысканиями, перестав считать за неоспоримую исходную точку то, что истина была их вполне достоверным достоянием, пошли двумя различными путями. Люди одного склада ума стали сомневаться в том, есть ли истина нечто на самом деле существующее и возможно ли для человечества раскрытие ее. Мыслители другого склада, принимая эту доктрину невозможности для человеческого разума познать и доказать истину, приходили к иному выводу; они возвращались назад и заключали, что, следовательно, древнее предание содержит в себе именно ту достоверную истину, обладание которой было признано невозможным для человеческого знания. Этот косвенный способ снова возвратит себе то положение, от которого они сами, по собственному своему разумению, отказались, был невозможен для такого живого и прямого ума, каков был ум Вольтера. Как бы ни был ум его полон ложными понятиями в разных областях знания – о племени, о спросе и потреблении и в особенности о пещерной жизни, – во всяком случае он был более свободен, чем у большинства и, конечно, чем у большинства этих подначальных приверженцев разных школ, от влияния театральные идолов и от тех двух крайностей, из которых одна слишком поспешно строит положительную и иерархическую систему знаний, а другая впадает в скептицизм и неопределенные изыскания безграничного¹⁴.

Благодаря такой особенности умственного склада Вольтера – называйте ее пагубной и слепой ограниченностью или же благоразумной и гармонически развитой ясностью ума – три из наиболее влиятельных школ современного мышления осудили Вольтера с беспощадной жестокостью. Всякий, кто отстаивает какую бы то ни было систему, является врагом знаменитого человека, разрушившего господствовавшую в его время систему и такими средствами,

¹³ «Rem, sur les Pensées de M. Pascal». Oeuvres, vol. XLIII, p. 68.

¹⁴ Bacon F. Novum Organum. § 67.

которые с одинаковой силой и так же непосредственно могут быть направлены и против всякой другой системы. Всякий, кто только полагает, что мы уже переворачиваем последний лист книги познания, какое бы заглавие ни стояло на ней, искренно и всецело ненавидит направление ума и побуждения человека, всю свою жизнь думавшего, что он и его поколение были первыми пионерами, которые, сбросив с себя цепи, приблизились к солнечному свету и получили возможность созерцать безграничный мир реальных вещей. С этого времени приверженцы западноевропейских религиозных учений стали питать неумолимое презрение и ненависть к врагу, который более всего способствовал низведению их учений, некогда столь гордо торжествовавших, к данному положению, когда они принуждены под разными предлогами и с весьма устарелыми притязаниями защищать благоразумную терпимость на сравнительно скромной почве. Соглашаемся, однако, что эта вражда не покажется чрезмерно поразительной, если только мы вспомним о вызовах со стороны Вольтера.

Многие, как из тех, которые питают хотя малейшую надежду на будущее восстановление древнекатолической веры, так и из тех, которые нисколько не сожалеют о ее падении, относятся менее враждебно к иезуитам, чем к Вольтеру. Конт, например, выработавший доктрину с соответствующей выведенной из нее системой жизни, по которой главный принцип метода общественной деятельности состоял в том, чтобы разрушать созидая, прямо отводит второстепенное место требованиям Вольтера относительно свободы наших желаний¹⁵.

В этих требованиях, собственно, нет ничего удивительного, если мы примем во внимание, что Вольтер, побуждаемый собственными дарованиями, решился заменить для себя старую коллективную традицию деяний и веры системой индивидуализма, и что он выказал себя слишком горячим противником царства авторитета и общественного застоя, ниспровержению чего он посвятил всю свою жизнь, чтобы содействовать каким-либо образом восстановлению подобного же царства, только лишь с измененным лозунгом. Быть может, он единственный великий француз, который умел терпеливо мириться со всем – но только не со сдержанностью в области критики – и предоставлял будущему пересоздание общественного строя, выбор средств и времени. Склонность успокаиваться на выводах из незаконченного опыта и настаивать на поспешном дополнении неполного анализа синтезом *à priori* было фатальным качеством его соплеменников от Декарта до Конта. Вольтер не заслуживает никакой особенной похвалы за такую свою сдержанность, потому что она была не столько результатом обдуманного убеждения – чего мы должны ожидать, судя по времени, – сколько неспособностью ясно понимать необходимость некоторого культа и прочной организации нашего знания как основного требования человеческого разума и существенного условия постоянного прогресса. Как

¹⁵ Один или два критика ставят мне в вину это место как не вполне справедливое в отношении того великого мыслителя, к которому оно относится. Мои обязательства к этому мыслителю, посредственные и непосредственные, столь велики, несмотря на полную для меня невозможность следовать ему в его идее общественного переустройства, что мысль о том, что и я могу нечто прибавить к сумме ложного толкования, жертвами которого были сам Конт и его доктрины, особенно неприятна мне. Вот почему я привожу здесь одно место, в котором Конт, кажется, отзывается несколько сочувственнее о Вольтере, чем в словах, указанных в тексте: «*Toutefois, l'indispensable nécessité mentale et sociale d'une telle élaboration provisoire laissera toujours, dans l'ensemble de l'histoire humaine, une place importante à ses principaux coopérateurs, et surtout à leur type le plus éminent, auquel la postérité la plus lointaine assurera une position vraiment unique; parceque jamais un pareil of ce n'avait pu jusqu'alors échoir, et pourra désormais encore moins appartenir à un esprit de cette nature, chez lequel la plus admirable combinaison qui ait existé jusqu'ici entre les divers qualités secondaires de l'intelligence présentait si souvent la séduisante apparence de la force et du génie.*» («Во всяком случае неизбежная умственная и общественная потребность в такой подготовительной работе доставит всегда важное место в общечеловеческой истории своим главным сотрудникам, и в особенности их более высокому типу, за которым самое отдаленное потомство обеспечит единственное в своем роде значение, потому что никогда до сей поры такая заслуга не выпадала – а в будущем тем менее можно ожидать этого – на долю такой природы, которая благодаря счастливой комбинации, какая только существовала до сих пор, различных второстепенных качеств ума часто представляла обольстительный вид силы и гения»). С этими словами мы должны, однако, сопоставить как тот глубоко интересный факт, что Вольтер является в календаре только как драматический поэт, так и весь характер и дух учения Конта, выразившийся в особенности в одном месте, где он говорит, что «*une pure critique ne peut jamais mériter beaucoup d'estime*» («чистая критика никогда не может заслуживать большого уважения»). (Politique Positive. ch. III, p. 547).

бы мы ни оценили эту мудрую сдержанность, однако факт, что Вольтер не мог выставить со своей стороны никакой системы вместо разрушаемой им вполне объясняет нам презрение к нему со стороны тех, для которых установление какой бы то ни было, но всеобщей и упорядоченной веры представляется полезнее для людей, чем кажущийся хаос той перепутавшейся и громадной растительности, какой в настоящее время заросло поле европейской мысли.

Существует третье мнение, столь же мало в свою очередь снисходительное к Вольтеру, как и предыдущие, – мнение научное, или культурное. Возражения с этой стороны высказываются в различных формах; некоторые из них спокойны и могут навести на размышления, другие несколько легкомысленны и грубы. Все они, по-видимому, приходят к тем выводам, что нападение Вольтера на религию ввиду отсутствия в нем и тени религиозного духа породило дальнейшее зло, вызвав в каждом, на кого только распространялось его влияние, озлобление и нравственную дерзость, – наихудшие пороки, какие только могут быть в характере отдельного человека или целого поколения. Считая, что истина относительна и условна, а понимание значения веры доступно только тем, кто спокойно отдает должное истории, ее происхождению и росту, они находили, что Вольтер небрежно, не философски и злонамеренно отнесся к тому, что обладало истиной, как к чему-то такому, что всегда было безусловно ложно, – к тому, что было результатом мнений и стремлений лучших людей, как к чему-то такому, что имело своим источником низкое лукавство людей самых испорченных. Они находили, что благодаря заразительному действию Вольтера медленный, подобный осеннему процесс постепенного разложения, который должен был совершаться и совершался бы, обратился в грязную арену борьбы страстей; что, имея в виду овладеть и обогатить людей широкой критикой жизни, он исключил из самой жизни ее глубочайшие, святейшие и возвышенные начала, а самую критику сузил и низвел с того ее положения, где она являлась тонким искусством определения и сравнения идей, на степень хитрых уловок словесного состязания, доказательств, аргументов и злобной полемики.

Конечно, есть много правды в такого рода обвинении, возводимом на дарования Вольтера и приложение их, иначе это обвинение не имело бы представителей между некоторыми из самых выдающихся умов современной эпохи. Но это уж естественное стремление времени – несколько преувеличивать действительное значение такой критики, которая и сама, несмотря на свои притязания быть критикой трезвой, умеренной и относительной, на деле не избегает рокового закона преувеличения и безусловности даже в самой своей умеренности и относительности. При оценке деятельности всякого новатора нужно иметь в виду время и врага, от которых все зависит.

Глава II

Влияние Англии

Можно сказать, что вольтерьянство получило начало со времени бегства своего основателя из Парижа в Лондон. Мы имеем полное право назвать это бегство геждрой, от которой философия разрушения формальным образом может вести свое летосчисление: как в Аравии одиннадцать столетий назад, так и теперь, побег, то есть факт из внешней жизни одного человека, был началом громадной внутренней революции. Вольтер высадился на берег Англии в середине мая 1726 года. В это время ему шел тридцать третий год – стало быть, он вступил в тот период жизни, когда люди со здравым взглядом впервые сознательно и обдуманно относятся к своему прошедшему и отмечают его темные стороны. В это-то время они или с новой силой устремляются вперед по пути своего высокого призвания, приняв в расчет обстоятельства и время, или постыдно бросают начатое дело и предоставляют другим, или никому, довершать их труд. Небольшое пространство со всех сторон замкнутой палубы, по которой мы осуждены шагать, среди необъятной шири вечного моря, с прекрасными, неясно очерченными и никогда еще не достигнутыми берегами, угнетает душу; этим как бы испытывается ее сила в то время, когда впервые выступают перед ней определенные границы ее деятельности. Сильны те, кем не овладевает трепет ввиду этого унылого призрачного света, но кто видит в нем предвестника наступающего дня деятельной жизни.

Прошлое Вольтера, на которое ему теперь приходилось оглянуться, было исполнено тревог, раздоров, нетерпеливой и беспокойной деятельности. Франсуа Мари Аруэ (Francois Marie Arouet) родился в 1694 году. Это был ребенок столь слабого сложения, что долго отчаивались в его жизни, так же как отчаивались в жизни Фонтенеля, который, однако, прожил сто лет и таким образом превзошел даже долговечность Вольтера. Его отец был нотариусом, известным своей неподкупностью и знанием дела, так что многие знатные фамилии Франции доверяли ему ведение своих дел. Предполагают, что мать его¹⁶ отличалась тою же живостью ума, которая составляла отличительную черту ее сына; но она умерла, когда Вольтеру было только семь лет, и он оставался со своим отцом до 1704 года, до времени поступления своего в школу. Его учителями в Коллегии Людовика Великого (College Louis le Grand) были иезуиты, благоразумная заботливость которых об умственном воспитании, в самом широком понимании этого слова, какое только в то время было возможно, несколько искупает их вредное влияние на нравственность и политику. Неустрашимый дух молодого Аруэ обнаружился с первых же шагов, и нам нет надобности подробно исследовать, какие именно предметы входили в программу обучения ребенка, которому его учитель¹⁷ вскоре же предсказал роль будущего корифея деизма во Франции. Впоследствии Вольтер обыкновенно говорил, что он не научился там ничему, достойному изучения. Юноша, который мог бросать безбожными эпиграммами в «своего брата янсениста» и декламировать поэму «Moisade» Руссо, конечно, обладал тем оригинальным складом ума, на свободное развитие которого не могло произвести глубокого подавляющего влияния неизбежно механическое школьное воспитание. Молодые люди с таким независимым нравом начинают свое образование, обладая уже характером вполне сформировавшимся, между тем как менее сильные и определенные натуры едва достигают этого, оканчивая свое воспитание.

Между юношей со смелой, живой и одаренной пылким воображением натурой и отцом, обладающим характером, свойственным нотариусу, на котором лежит серьезная ответственность, не могло быть никакой симпатии, и им недолго пришлось ждать случая, который при-

¹⁶ Урожденная д'Омар из одной дворянской фамилии в Пуату.

¹⁷ Отец Леже.

вел бы к открытой и безусловной ссоре. Сын благодаря своему крестному отцу, аббату Шатонев, получил доступ в веселый, но ставший уже бесславным мир регентства; необыкновенная бойкость ума и способность к стихотворству доставили ему здесь хороший прием и покровительство. Нам нет надобности напрасно тратить слова по поводу испорченности и умственной пустоты общества, в какое был брошен Вольтер. До сих пор оно не имело себе равного по легкомыслию и пустоте, которые прикрывались литературной натертостью и игрой поверхностного остроумия, что еще только резче оттеняло отвратительное содержание. В сравнении с грубым проявлением животных инстинктов и непристойностью двора Людовика XV это общество не было лишено блеска; но поверх этого блеска мы замечаем какую-то мутную слизь, похожую на радужный налет застоявшейся лужи. Нинон де л'Анкло¹⁸, подруга его матери, была, быть может, единственная свободная и честная душа, с которой молодому Аруэ стоило быть знакомым. Несмотря на свой крайне преклонный возраст, она все еще сохраняла и свое остроумие, и свою необыкновенную честность ума. Она всегда была свободна от лицемерия, начиная с того времени, когда подняла на смех педантических женщин и платонических любовников отеля Рамбулье, которых она прозвала янсенистами любви, и до своего отказа madame Ментенон на приглашение ко двору под условием присоединения к банде святошей. Престарелая Аспазия, которой было уже за восемьдесят лет, была поражена блестящими задатками молодого поэта и отказала ему по завещанию некоторую сумму на приобретение книг.

Остальная часть общества, в котором очутился Вольтер, была пропитана духом реакции против мрачного ханжества двора последних лет Людовика XIV. Но, как бы ни было дурно и достойно сожаления это суровое ханжество, возмущение против него выражалось в формах еще худших и еще более достойных сожаления. Царившая тут распущенность была, кажется, вовсе не самого веселого сорта, какой она и не могла быть ввиду своего протестующего и вызывающего характера. Аббат Шолье¹⁹, поэт с игривой фантазией, изяществом и непринужденностью, был развратным Анакреоном той знати, которая в течение наилучшего периода царствования Людовика XIV не умела симпатизировать благородству и величию этого времени, а в течение худшего периода этого царствования возмущалась его обскурантизмом. Двадцатилетний Вольтер был искренним и открытым учеником аббата Шолье²⁰. Этой задушевной дружбой, быть может, объясняется и замечательная непрерывающаяся связь традиций великого века с Вольтером, отличающая его от школы знаменитых людей, названных вольтерьянцами, характерной чертой которых было то, что они окончательно порвали всякую связь со всем прошлым истории и литературы Франции. Принцы, герцоги и маркизы принадлежали к банде Шолье. Отчаяние и ярость Аруэ-отца при виде таких сотоварищей своего сына и всех их безрассудств вызвали еще раз повторение старой истории, так часто встречающейся в биографиях юных гениев. Таланты и знатные друзья не могли примирить благоразумного нотариуса с отвращением его сына к законоведению и нотариальной конторе. Оргии с герцогом Сюлли и состязание в рифмоплетстве с Шолье получают в наших глазах малое значение, так как мы знаем, что все это было только непристойным и зловредным прологом к жизни непрерывного и благородного труда; но вместе с тем мы легко можем понять, что все эти безрассудства принимали в глазах его отца особые размеры как признаки развращенности и будущей гибели. Антипатия Вольтера к той профессии, к которой так настойчиво отец старался склонить его, сказалась в брошенном вскользь им, спустя долгое время, ироническом определении адвоката: как человека, не имеющего достаточно денег, чтобы купить одну из тех блестящих должностей, на которую устремлены глаза всего света, человека, изучающего в течение трех лет законы Феодосия и

¹⁸ *Нинон де л'Анкло* (Ninon de l'Enclos, 1616–1706), в молодости известная куртизанка, никогда не пользовавшаяся богатством своих многочисленных любовников.

¹⁹ *Шолье* (Guillaume Amfrye de Chauleu, 1693–1720).

²⁰ *Oeuvres*. Vol. LXII, p. 45.

Юстиниана, чтобы знать обычное право Парижа, и получающего вместе с дипломом право защищать за деньги, если только он обладает громким голосом²¹.

Аруэ-отец просил брата Шатонефа, дипломата, принять к себе в компанию его сына, студента юриспруденции, который слагал вирши, вместо того чтобы изучать законы Феодосия. Таким образом, юноша отправился в Гаагу. Здесь он тотчас же впутался в новую неприятную историю: он влюбился навеки в молодую поселянку; само собой разумеется, что это «навечно» продолжалось всего несколько недель, но тайные свидания, письма, слезы и все другие обычные проявления юношеской страсти, на что так хмурятся боги, – все было разоблачено. Посланник отослал неисправимого мальчика назад к его отцу с приложением документальных данных и изложением всех подробностей и результатов происшествия, не нуждающихся в описании.

Осенью 1715 года Людовик XIV умер и управление государством перешло в руки регента Орлеанского. Тотчас же появилась едкая сатира под заглавием: *Les fai vu* («Я видел их»). В ней автор перечисляет все то зло, какое он видел повсюду в государстве: тысячи тюрем, наполненных честными гражданами и верноподданными; народ, стонущий под игом сурового рабства, чиновников, разоряющих города непомерными налогами и несправедливыми эдиктами; одним словом, говорит он: «Я видел, что иезуиту поклоняются, – и этим все сказано» («j'ai vu, c'est dire tout, le jesuite adore»). Последняя строчка гласит, что автор видел все это зло, хотя ему было только двадцать лет от роду²². Вольтеру было двадцать два года, но власти знали его за писателя стихов с язвительным содержанием и потому на разницу в летах взглянули как на риторический прием и заключили его в Бастилию (1716). В действительности же Вольтер не был повинен в этом преступлении, но даже среди этих угрюмых стен, где он пробыл почти год, его не покидало веселое расположение духа, и пылкость его ума не угасла. На изучение обычного права Парижа и свода законов он также мало обращал внимания, как и прежде, и делил свое время между изучением двух великих поэм Греции и Рима²³ и подготовкой того, что, по его предположениям, должно было составить великую поэму Франции. Он закончил здесь также свою трагедию «Эдип», которая была поставлена на сцену в течение следующего года и имела полный успех. Эта трагедия была началом блестящей драматической карьеры, которая для более обыкновенного смертного сама по себе могла бы наполнить жизнь славой.

Следующие шесть лет он провел среди веселого, преимущественно аристократического общества, усидчиво работая над новыми пьесами и окончанием «Генриады». Его сила постепенно росла. К концу этого периода легкомыслие юного ученика Шолье окончательно исчезло; и хотя образ жизни Вольтера, как теперь, так и много лет спустя не отличался, конечно, ни правильностью, ни приличием – если приложить тот строгий масштаб, какого держится действительно избранное общество, – однако это была вполне трудовая жизнь, исполненная сознательных стремлений. На некоторое время эта неустанная работа была нарушена его любовью к жене Вилляра²⁴, и он всегда вспоминал впоследствии об этом перерыве в своих занятиях с таким же угрызением совести, какое мог бы чувствовать святой ввиду совершенного им тяжкого греха отступничества. Он часто бывал в поместьях Сюлли, Вилляра и в иных местах, отпускал тысячи шуточных стишков, устраивал драматические спектакли, оживлял пиршества и в то же время вел неутомимую переписку. В данную пору, как и в течение всей жизни, его здравый смысл и разумная воля, его деловые способности и его любовь к друзьям соединились вместе, чтобы поставить его выше пустых отговорок и себялюбия тех, которые пренебрегают главным средством для образования и поддержания общественных связей и дружественных

²¹ Dictionnaire Philosophique; Oeuvres, vol. III, p. 378.

²² Dictionnaire Philosophique, s. v.; Oeuvres, vol. III, p. 378.

²³ «Илиада» и «Энеида».

²⁴ Вилляр Клод Луи Эктор (Villars, 1653–1734), последний великий полководец Людовика XIV.

отношений. Он предпочитал деревню городу. «Я создан быть фавном или лесным человеком; я не рожден для городской жизни», – сказал он однажды. «Я чувствую себя в аду, когда бываю в проклятом Париже», – выразился он в другой раз²⁵. Единственным преимуществом «проклятого города» была возможность достигнуть в нем, как и во всяком другом месте, где скопится масса народа, полнейшего уединения, позволявшего Вольтеру более усердно заняться своей работой, чем в тесном кружке сельских знакомых. «Я боюсь Фонтенебло, поместьев Вилляра и Сюлли, как ввиду моего здоровья, так и ввиду блага Генриха IV: я должен бросить там всякую работу, должен есть через меру и в угоду и удовольствию другим терять много золотого времени, которое мне следует расходовать на полезный и честный труд»²⁶.

Однако и этот период жизни Вольтера богат уже теми поразительно суетливыми скитаниями взад и вперед по Франции и вне ее, которые характеризуют большую часть его жизни, придавая ей деятельный, тревожный и беспорядочный характер; и на многое они могут пролить свет, когда вспомним о том, какой устойчивостью жизни и каким постоянством относительно своего местожительства отличался ближайший ко времени Вольтера светлый гений, озаривший Европу. Гете никогда не видел ни Лондона, ни Парижа, ни Вены и не совершал никаких путешествий, кроме знаменитой поездки в Италию и похода в Вальми. Вольтер же, словно ветер, носился из одного конца Европы в другой, и только после того, как он прожил добрую половину своей жизни, мы можем говорить о его домашнем очаге. Все, что так или иначе связано с его именем, напоминает о тревоге, постоянном смехе, резких препирательствах с людьми и о борьбе с обстоятельствами. Не следует, однако, забывать, что ценой этих постоянных передвижений Вольтер покупал себе силу и свободу слова в те дни, когда партия суеверия, пользуясь доверием светской власти, прибегала без малейшей пощады к самым насильственным мерам, чтобы задушить всякое смелое слово и погубить всякого независимого писателя. Эти непрерывные скитания Вольтера были в большинстве случаев бегством от преследований, и этого соображения вполне достаточно, чтобы рассеять смущение самого требовательного приверженца спокойной и правильной жизни; это были большей частью отступления перед стаей волков.

В 1722 году умер Аруэ-отец. До последнего часа он был враждебно настроен против сына, столь же упрямого, как и он, но наделенного, к несчастью, несравненно более художественною натурой. Около этого же времени исчезает и само имя Аруэ, и с тех пор поэт известен под вечно славным по многим причинам псевдонимом Вольтера. Предлагали различные объяснения для этого имени, но ни одно из них нельзя считать удовлетворительным; последнее и, быть может, наиболее вероятное объяснение пытается найти решение в причудливой анаграмме²⁷.

Деятельный, с жаром предающийся то сельским удовольствиям, то уединенному труду, Вольтер вместе с тем отличался необыкновенной общительностью. Его письма обнаруживают в нем – истинном обладателе всех искусств – искусство быть любезно вежливым с лицами, занимавшими высокое общественное положение и смотревшими на него как на товарища, и в то же время вполне сохранять чувство собственного достоинства. «Мы все принцы и поэты!» – весело воскликнул он на одной из ночных пирушек богов. Такая веселая откровенность и свобода в отношениях не всегда встречали хороший прием, и впоследствии Вольтер ясно увидел, на каких правах его принимали в действительности. «Кто этот молодой человек, что так громко разговаривает?» – воскликнул некто шевалье Роган среди оживленного кружка гостей, собравшихся в доме герцога Сюлли²⁸. «Милостивый государь, – быстро ответил молодой человек, – это тот, кто не носит знатного имени, но приобретает уважение тому имени, которое

²⁵ Oeuvres, vol. LXII, p. 86, 89.

²⁶ Ibid., vol. LXII, p. 107.

²⁷ A. R. O. V. E. T. L (e). J (eune).

²⁸ Слово «chevalier» означает, кажется, титул, который из вежливости давали младшим членам известных знатных фамилий.

носит». Несколько дней спустя рассерженный патриций великодушно воспользовался случаем, чтобы при помощи своих лакеев наградить поэта палочными ударами за урок, который тот осмелился дать ему. Вольтер, обладавший, во всяком случае, тем, что в натуре чрезмерно раздражительной и восприимчивой заменяет истинное физическое мужество, начал с этого времени усердно заниматься фехтованием. Он делал все, что мог, чтобы вызвать своего врага на дуэль, но *chevalier* (рыцарь) или боялся человека, искусно владеющего шпагой, или же презирал противника из среднего сословия. Наконец, благодаря влиянию Роганов поэт еще раз попал в Бастилию, которая находилась тогда в качестве исправительного дома в полном распоряжении и пользовании знати, двора и духовенства. Здесь Вольтер, представлявший тогда во мнении людей еще весьма малую и неизвестную величину, волновался и раздражался в течение полугода²⁹. Миротлюбивый Флери³⁰ по обыкновению всех миротлюбивых людей, власть имеющих, всего менее заботился о том, чтобы наказать обидчика, и всего более о том, чтобы избежать всякого шума, хорошо зная, что этого легче всего достигнуть, если только не затрагивать человека, наиболее способного постоять за себя.

После освобождения Вольтеру было предписано оставить Париж. Однако он тайно посетил этот город, но при этом оказалось, что не было никакой надежды получить удовлетворение от власти, находившейся в руках тех людей, которым их гордость и чиновное достоинство мешали не только заглаживать, но даже замечать обиды, нанесенные простому буржуа. Как будто потомок победоносных франков, каким был де Роган, может потерять древнее право жизни и смерти над потомком галлов? – вот горькая мысль, заимствованная нами у Кондорсе³¹. И это вовсе не ирония, потому что в то время как Вольтер сидел в Бастилии, печаталось удивительное произведение графа Булэнвильера (*Count of Boulainvilliers*), в котором он доказывал, что феодальная система есть образцовое изобретение человеческого ума, и что возвышение королевской власти и возрастание народных вольностей явились в одинаковой мере несправедливой узурпацией прав победоносных франков³².

Вольтер не пожелал быть терпеливой жертвой применения этой прекрасной исторической теории. В порыве благородного негодования он покинул Францию и искал убежища у того мужественного и вольного народа, который подчинением чиновной иерархии народной воле добыл себе полную свободу мысли, слова и личности. Современный историк Бокль составил список знаменитых людей, совершивших такое же самое паломничество, которое придало им нравственную силу и бодрость. «В течение жизни двух поколений, между смертью Людовика XIV и взрывом революции, едва ли был хоть один знаменитый француз, который не посетил Англии или не изучил английский язык; а многие из них сделали и то и другое»³³.

Действительно, кроме Вольтера можно назвать Бюффона, Бриссо, Гельвеция, Гурнэя (*Gourneau*), Жюсье (*Jussieu*), Лафайета, Монтескье, Мопертюи, Мореллэ, Мирабо, мужа и жену Ролан, Руссо, которые жили в Англии и вращались в английском обществе. Мы, преемники Водстворта, Шейли, Байрона, Скотта, начинаем забывать блестящую группу людей царствования королевы Анны. Их время было временем убеждений и личного удовлетворения; наше же время есть время сомнений и неудовлетворенных стремлений, а эти два направления не могут симпатизировать одно другому. Однако же, начиная от Ньютона и Локка до Попа, это была, конечно, группа знаменитых людей, которыми Англия имеет полное основание гордиться ввиду их заслуг в науке, философии и высокохудожественной литературе, по крайней мере, не менее, чем кем бы то ни было из современных писателей.

²⁹ По Геттнеру, Вольтер на этот раз пробыл в Бастилии всего 12 дней: от 17 апреля 1726 г. до 29 апреля того же года.

³⁰ *Андре-Эркуль де Флери* (*André Hercule de Fleury*, 1653–1743) был с 1726 г. первым министром Людовика XV.

³¹ *Oeuvres*, vol. I V, p. 18.

³² *Histoire de l'ancien Gouvernement de la France*. 1727.

³³ *Buckle H. T. History of Civilisation*, vol. I, p. 657–664.

До сих пор Вольтер был поэтом, и ум его не выходил за пределы поэтического творчества. Он сразу и навсегда превзошел кого бы то ни было в легком и изящном стихе, в «том роде поэзии, – говорит французский критик, вполне заслуживающий доверия в этой области, – в каком Вольтер является единственным повелителем и вместе с тем единственным писателем, которого можно читать»³⁴. Он написал три трагедии и окончил свою поэму после целого ряда тщательных ее переделок. Две строки первой его драматической пьесы обнаружили в нем полное отсутствие чувства привязанности к католическому духовенству.

Nos prêtres ne sont point ce qu'un vain peuple pense;
Notre crédulité fait toute leur science³⁵.

(Наши священники далеко не то, что думает о них легкомысленный народ; наше легковерие составляет всю их мудрость.)

Слова Араста в той же самой пьесе дышат силой.

Ne nous f ons qu' à nous; voyons tout par nos yeux³⁶.

(«Будем верить только себе; будем смотреть на все своими глазами. В этом наши алтари, наши оракулы, наши боги».)

Впрочем, это были просто неопределенные и случайные фразы вольнодумца (*esprit fort*), друга Шолье и поэта испорченного общества, где религия стала предметом сомнения лишь только потому, что вся жизнь этого слоя общества была пропитана разнузданностью.

Несмотря на заглавие произведения: «За и против», поэт мало заботится о сохранении соразмерности в аргументации в пользу каждой из сторон. В этом сочинении он обращается к одной даме, которая испытывала сомнения относительно религиозных вопросов; в таком сомнении находились, вероятно, многие из знатных друзей Вольтера, но далеко не всех он считал нужным наставлять и поучать. В то время скептицизм был только интересной модой.

Дилетанты в вопросах веры принадлежат, конечно, не к числу сильных умов; напротив, их дилетантизм свидетельствует о слабости ума, жизненные же факты в это время имели слишком серьезное значение для Вольтера, а потому эта истина не могла ускользнуть от его пронизывающего взора. Легко предположить, что нетерпеливое отвращение к окружавшей его жалкой жизни, так же как и негодование на несправедливость, понудило его бежать в ту страну, где люди не только произносят пустые слова о том, что они признают разум своим богом, своим оракулом и ему строят алтари, но возводят отрицание всяческого суеверия в систему и с полной верой обращаются к точному разуму и его указаниям. Вольтер покинул страну, где свобода мысли была только пустым лозунгом, модным развлечением, и где тот, кто смотрел на «пять положений» (*Five propositions*) Янсения³⁷ как на вещь безразличную относительно человеческого счастья, считался уже вольнодумцем³⁸. Вольтер нашел, что в Англии свободное мышление действительно широко распространилось, что оно не только перерабатывает теологические идеи, но и захватывает литературу, нравы, политику и философию всего культурного общества. Вольтер оставил Францию поэтом, а возвратился в нее философом. До своего бегства он

³⁴ *Sainte-Beuve C. A. Ibid.*, p. 3.

³⁵ *Oedipe. Act I V, sc. 1.*

³⁶ *Ibid. Act II, p. V.*

³⁷ *Корнелий Янсений* (Cornelius Jansen, 1585–1638) – знаменитый нидерландский богослов. Он, как и его последователи-янсенисты, был сторонником учения Августина о несвободе воли. Учение Янсения нашло себе многочисленных и высоко даровитых защитников во Франции при Людовике XIV; французские иезуиты были его горячими противниками, и при помощи правительства они одержали над янсенистами победу.

³⁸ *Condorcet N. Vie de Voltaire; Oeuvres*, vol. I V, p. 20.

был только в сфере фантазии и критики, творцом надлежащих форм и образцов. Возвратился же он уже с вполне созревшим поэтическим талантом, вкусив плода с древа научного разума, и, что не менее важно, он уже глубоко прочувствовал основную истину о назначении всякого искусства и знания для общественных целей. Короче, из писателя Вольтер превратился в вождя и трибуна. «Пример Англии, – говорит Кондорсе, – показал Вольтеру, что истина существует не для того, чтобы оставаться тайной как достояние немногих философов и небольшого круга людей, которых просвещают и наставляют те же философы и которые, лукаво улыбаясь, смотрят на невежество и его жертву – народ и в то же время являются поборниками этого невежества, когда по своему официальному или общественному положению думают извлечь из него действительные или воображаемые выгоды. Тогда они вполне готовы допустить изгнание и всевозможные кары для своих учителей, если только последние осмелятся открыто сказать то, о чем они сами втихомолку рассуждают. По возвращении своем во Францию Вольтер понял, что он призван разрушить все те предрассудки, рабом которых было его отечество»³⁹.

Здесь нетрудно отметить, какого рода факты наиболее привлекли к себе внимание изгнанника, но было бы смело утверждать, что оно вполне соответствовало действительной важности и глубокому значению этих фактов или же что Вольтер действительно усматривал основную связь, существующую между ними. Быть может, первое, что поразило его в Англии, было то, что здесь как литература, так и литераторы имеют большое общественное и политическое значение. В царствование Анны и отчасти в царствование Георга I гениальным людям оказывалось щедрое и блестящее покровительство. И вот поэт, брошенный в тюрьму за то, что желал отомстить за палочные удары, нанесенные ему лакеями аристократа, вдруг очутился в стране, где Ньютон и Локк занимали выгодные, административные должности, где Прайор⁴⁰ и Гей⁴¹ имели важные места в посольстве и где Аддисон⁴² был государственным секретарем. Между тем как в Париже автор «Эдипа» и «Генриады» позорно слонялся в толпе Версаля во время свадьбы Людовика XV, получая жалкие подачки из собственного кошелька королевы⁴³, в Лондоне Роу⁴⁴, Амброуз Филипс⁴⁵ и Конгрив⁴⁶ пользовались богатыми синекурами. Много было писано о близких связях между министрами и блестящей литературной партией этого века. Ко времени изгнания Вольтера эти связи стали ослабевать вместе с усилением могущества Вальполя, который вовсе не был знаком с современной литературой и несколько о ней не заботился. Но старый обычай не был еще забыт, а люди, получившие сами выгоды и приносившие при этом пользу другим, были еще живы и играли видные роли в тех кружках, куда благодаря Болингброку вошел Вольтер. Ньютон умер в 1727 году, и Вольтер видел, что смерть его оплакивали как общественное бедствие и что похороны его в глазах всей страны сопровождались такою пышностью и были так обставлены, как будто Ньютон был не математик, а король, благодетель своего народа⁴⁷. Автор «Путешествий Гулливера»⁴⁸ все еще носил сан

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Матью Прайор* (Matthew Prior, 1664–1721). Главное его произведение – дидактическая поэма «Размышления Соломона о мирской суете».

⁴¹ *Джон Гей* (John Gay, 1688–1732), драматург, автор идиллий и талантливых пародий.

⁴² *Аддисон* (Addison, 1672–1719), автор трагедии «Катон» и основатель знаменитого журнала «Зритель» (первый журнал общественной жизни).

⁴³ Correspondence (Voltaire's Correspondence. Vol. I, 1704–1725 – переписка Вольтера – *Примеч. ред.*), 1725; Oeuvres LXII, p. 140–149.

⁴⁴ *Роу* (Rowe, 1673–1718), бездарный трагик, подражатель французских псевдоклассиков.

⁴⁵ *Амброуз Филипс* (Ambrose Philips, 1671–1749), очень плодовитый поэт.

⁴⁶ *Конгрив* (Congreve, 1670–1729), автор распутных комедий. См. о Вичерни, статью Маколея. О более известных из этих писателей см.: *Геттиер Г.-Т.* История всеобщей литературы XVIII в. Т. I. Сиб. 1863.

⁴⁷ *Voltaire. Lettres sur les Anglais. L. XV* (далее *Lettres sur les Anglais. – Примеч. ред.*); Oeuvres. Vol. XXXV, p. 114; Сравн. также vol. XXIV (pp. 197–202).

⁴⁸ *Джонатан Свифт* (Jonathan Swift, 1667–1745).

прелата государственной церкви, а литературные заслуги все еще были тесно связаны с признанием достоинства и значения в разных общественных делах.

Если смотреть на литературу как на одно из чисто декоративных искусств, тогда в покровительстве ей государственных людей ее наиболее талантливым – или, лучше сказать, обладающим наибольшей способностью нравиться – представителям, разумеется, не может быть вреда; но чем более литература приближается к тому состоянию, когда она становится выражением серьезного отношения к жизни, истинной духовной силой, тем более опасно делать ее орудием к достижению внешней власти или материальных выгод. Практический инстинкт английских политиков, прекрасно заменяющий в некоторых отношениях научное понимание, завел англичан несколько далеко в деле охранения столь важного принципа, как отделение новой церкви от государства и прекращение участия ее в отправлении государственных функций и в получении государственного вознаграждения. Несчастья Франции со времени революции ни от чего иного не зависели в такой степени, как от того господствующего влияния, какое литераторы приобрели в этой стране; и начало этому роковому влиянию, конечно бессознательно, было положено Вольтером.

Итак, воздаваемые в Англии почести уму, приятно поразили бастильского беглеца; не менее, вероятно, удивила его и свобода, с какой здесь всякий, кто только имел средства заплатить типографии, толковал об общественных делах и общественных деятелях. Большой свободы печати и театра мы в новейшей истории не знаем; а в такой мере ею пользовались с тех пор раз или два. От Болингброка⁴⁹ и Свифта до автора *The Golden Rump*⁵⁰ всякий писатель, считающий себя принадлежащим к партии оппозиции, третировал министра с запальчивостью и яростью, которые ни мало не раздражали и не пугали последнего; тогда как случись это во Франции, самые глубокие подземелья Бастилии были бы битком набиты жертвами злобы и страха Флери. Такая свобода была настолько естественна в стране, пережившей в течение девяноста лет жестокую гражданскую войну, насильственную перемену правления и династии и не вполне еще затихшую распрю за престол, – насколько она была бы невозможна во Франции, где, даже в самые смутные времена мятежных войн лиги и фронды правильное течение внешнего порядка было нарушено только снаружи и слегка. Ни одна новая идея об отношениях между правителем и подданными еще не проникла во Францию в то время, когда в соседней стране эти идеи уже глубоко укоренились. Ничто не обошлось народу так дорого, как подобный порядок вещей. В гнусные времена Карла IX и Генриха III, писал Вольтер, все-таки существовал вопрос, должен ли народ быть рабом Гизов, тогда как в последнюю войну подобная мысль вызывала только свистки и презрение. И в самом деле, что такое де Ретц, как не мятежник без определенной цели и зачинщик восстания без имени? Что такое парламент, как не учреждение, которое не понимает ни своего истинного значения, ни своего полного ничтожества⁵¹.

Протестантизм со своей стороны подрывал идею власти и уважения к ней в такой степени, в какой этого никогда не достигали самые анархические движения во Франции, где анархия всегда возникала не столько из неуважения к власти самой по себе, сколько из страстного и неуступчивого намерения каждой отдельной группы доставить власть той или другой партии. Вольтерьянство, как и католицизм, не могло вдохновить поэта написать произведение, равное «Ареопагитике» Мильтона, благороднейшей защите благороднейшего дела. Мы не знаем, вдумывался ли Вольтер когда-нибудь достаточно в историю возникновения той свободы речи, которая даже в своем злоупотреблении поразила его как явление удивительное в стране, где сохраняется прочный общественный порядок, несмотря на эту полную свободу. Он, веро-

⁴⁹ *Генри С. Джон, лорд Болингброк* (Henry S. John Bolingbroke, 1672–1741), один из новейших политических писателей Англии.

⁵⁰ *Stanhope Ph. History of England*, 1858, vol. II, p. 231.

⁵¹ *Lettres sur les Anglais*, L. IX; *Oeuvres*, vol. XXXV, p. 73.

ятно, довольствовался созерцанием столь дивного феномена, не углубляясь в предшествовавшие ему обстоятельства. Одно уже зрелище этой независимой, энергичной, всесторонней и поистине народной деятельности ума, какое представляла в это время Англия, само по себе было достаточно, чтобы приковать взор того, кто так ясно сознавал свою умственную силу и так горько возмущался против системы, зажимающей уста намордником.

Чтобы ясно представить себе впечатление, произведенное этой свободой речи на пылкий ум Вольтера, достаточно вспомнить только, что по возвращении своем на родину он принужден был долго выжидать, употреблять различные уловки, терпеть докучливые преследования, прежде чем выпустить в свет свои рассуждения о Ньюtone и Локке, причем ему пришлось умолчать о многом, что хотя и не имело особенного значения, но что тем не менее он страстно желал высказать. «В Париже приходится, – писал он, долго спустя после своего возвращения, – маскировать то, для чего в Лондоне я не мог подыскать достаточно сильных выражений». При этом Вольтер восхваляет свое мужество, выражавшееся в том, что он поставил Ньютона выше Рене Декарта, и в то же время он сознается, что грустная, но необходимая осторожность принудила его умышленно затемнять значение Локка⁵². Поэтому можете уже судить, каким светом просиял мощный ум Вольтера, когда он впервые увидел, что исследование и распространение истины может не сопровождаться низкими и безнравственными оскорблениями и преследованиями. Самое представление об истине, как богине, сокрытой под покровами жреческой тайны, совершенно изменялось; напротив, это оказалась богиня, которая свободно появлялась среди шумного и радостного состязания различных мнений и здесь обнаруживала собственное свое величие и указывала своих избранных.

Вникая глубже, Вольтер пришел не только к новому представлению об истине, в которой он увидел нечто резкое, суровое и самодовлеющее, но также что открывало для него совершенно новый род истины к признанию торжества медленно развивающейся индукции и положительного мышления. Франция представляла почву для восприятия законченных систем мироздания. Всякая предварительная и допускающая сомнение постановка вопроса была невыносима для ее нетерпеливого гения, и пропасть, которую научное исследование не могло восполнить, тотчас же старались скрыть от глаз искусными ширмами метафизических фантазий. Система Аристотеля умирала во Франции медленнее, чем где бы то ни было. В 1693 году, то есть в то время, когда Оксфордом, Кембрижем и Лондоном действительно овладели уже принципы Ньютона, во Франции даже картезианская система⁵³ была изгнана декретами Сорбонны и королевского совета⁵⁴. Когда же потом картезианская философия завоевала себе здесь место, то за нее держались крепко, помня, как трудно было с ней бороться. Нетрудно ввиду этого допустить, что позитивный ум Вольтера инстинктивно оставался вдали от непроверенных и не могущих быть проверенными философских обобщений, опутанных теологией и метафизикой.

Легко также понять свежее и восторженное чувство, испытанное этим глубоким, положительным и серьезным умом; мы употребляем эти эпитеты, каким бы парадоксом они ни звучали, наряду с эпитетом всесветного зубоскала, – когда он впервые заменил достоверными и научными открытиями Ньютона, опоэтизированную астрономию Фонтенеля⁵⁵, правда, прекрасно составленную, как это умел вообще делать Фонтенель. Вольтер всегда и во всем умел отличить риторику от содержания и чувствовал к ней глубокое, вполне законное отвращение, если старались подменить ею мышление. Никто так искренно не ценил изящество стиля и

⁵² Correspondence, 1732, vol. II; Oeuvres, LXII, p. 253.

⁵³ Т.е. система Декарта.

⁵⁴ Martin H. Histoire de France, ch. XIV, p. 265–267.

⁵⁵ *Бернар Ле Бовье де Фонтенель* (Bernard Le Bovier de Fontenelle, 1657–1757), поэт и ученый.

форму, как Вольтер, но он никогда не ставил красоту языка выше строгой аргументации и точных серьезных выводов.

Декарт, говорит Фонтенель, отдавшись смелому полету своего мышления, требовал, чтобы обратились к самому первоначалу всего сущего, чтобы из собственного разума при помощи немногих ясных и основных идей выводили главные принципы внешнего мира и, таким образом, переходили бы к явлениям природы как необходимым следствиям этих принципов.

Более осторожный, а может быть, и более скромный Ньютон исходит, напротив, из явлений природы и берет их так, как они даны во внешнем мире, чтобы затем перейти к неизвестным причинам. Декарт исходит из того, что, очевидно, само собой разумелось, думая таким путем открыть причину того, что он видел; Ньютон, чтобы открыть ту же причину – ясную или неясную, – исходил из того, что он видел. Скромность и здравый метод достигли более широкого поразительного обобщения, чем смелый полет или самые решительные умозаключения от ясно понимаемой идеи до непонятных явлений природы. Блестящее и не имеющее себе равного открытие Ньютона было передано и объяснено Вольтеру, вероятно, доктором Самуэлем Кларком, одним из самых талантливых последователей Ньютона, с которым, как говорит Вольтер, он имел много раз ученые совещания с 1726 года⁵⁶. Нет сомнения, что Вольтер еще от иезуитов узнал теорию вихрей⁵⁷ и что достаточно было одного ясного изложения, чтобы посвятить его в новую теорию, сияющую собственным светом и настолько сильную, что она могла вытеснить всякую другую искусственную теорию из ума, свободного от предрассудков, хотя бы со слабым научным развитием. Самым верным признаком силы деятельного ума Вольтера может служить то что принявши с восторгом учение Ньютона о всемирном тяготении, он не забыл о славных заслугах и блестящем гении Декарта. Грубый и шумный, но бессильный в сущности энтузиазм, обнаруживавший свое существование только в стремлении унижить соперника, не был свойствен такому горячо искреннему и проницательному уму, каков был ум Вольтера. Своему изложению теории тяготения Вольтер предпосылает искреннюю и верную оценку заслуг автора теории вихрей⁵⁸.

Знакомство со специальной теорией тяготения было важно для Вольтера не столько само по себе, как тем, что оно сообщило непреборимый импульс для дальнейшего развития прирожденного ему здравого и положительного ума. Оно освободило его ум, помогло ему не только вступить в борьбу с теорией вихрей, но не утратить и этих ужасных философских снарядов – монад, достаточного основания и предустановленной гармонии, которыми в то время Лейбниц держал в страхе европейскую философию. «О, метафизика!» – воскликнул Вольтер, – с ней мы дошли до той степени развития, на которой стояли древнейшие друиды»⁵⁹.

Учение Локка направляло ум Вольтера по тому же пути терпеливого и осторожного опыта, так как тот же метод, давший начало теории тяготения, способствовал появлению на свет и опытной психологии. Ньютон вместо разработки теории вихрей или изобретения другой умозрительной теории обратился к терпеливому и старательному изучению явлений природы; точно так же и Локк – вместо того, чтобы изобретать роман души, по выражению Вольтера, благоразумно обратился к наблюдениям над явлениями мысли и «преобразовал метафизику в экспериментальную физику души»⁶⁰.

⁵⁶ Philosophie de Newton, pt. c.; Oeuvres, vol. XLI, p. 46.

⁵⁷ Движения небесных тел Декарт объяснял вихрями (tourbillons) или течениями в эфире.

⁵⁸ Lettres sur les Anglais, L, XV; Oeuvres, vol. XXXV, p. 115–120.

⁵⁹ D'Alembert.

⁶⁰ Philos. de Newton, pt. I ch. I. Oeuvres, vol. XLI, p. 108.

Господствовавший тогда во Франции философ Мальбранш⁶¹ покорял умы тех, кто приходил в восторг от его стиля. Все верили ему в том, чего сами не понимали, потому что он правильно начинал с того, что все понимали. Он пленял своим изяществом, как Декарт смелостью; но Локк был только мудрец⁶². «В конце концов, – писал Вольтер, – тот, кто изучал Локка или, лучше сказать, кто глубоко проникся системой его учения, должен смотреть на всех Платонов как на изящных болтунов, и только». С точки зрения истинной философии глава из Локка и Кларка по сравнению с болтовней древних философов есть то же, что оптика Ньютона в сравнении с оптикой Декарта⁶³. Здесь любопытно заметить, что де Местр, который ставил Платона ниже, чем ставил его Вольтер, и который едва ли относился с меньшим презрением к самому Вольтеру, говорил: при изучении философии презрение к Локку есть начало познания⁶⁴. Напротив, Вольтер был глубоко тронут, когда узнал, что его племянница изучает великого английского философа, причем он испытывал то же, что испытывает любящий отец, проливая слезы радости при виде успехов своих детей⁶⁵.

Локк, подобно тому как Август в своей сфере эдиктом *de coercendo intra fines imperio*, ограничил определенную область для знания и тем дал последнему прочное основание⁶⁶. «Локк, – говорит Вольтер, – в другом месте, изучает развитие человеческого разума точно так же, как хороший анатом рассматривает строение человеческого тела: вместо того чтобы определять сразу все, что недоступно нашему познанию, он последовательно исследует то, что необходимо знать; иногда он имеет мужество утверждать что-либо положительно, а иногда – сомневаться»⁶⁷. Это вполне верная оценка. Локк понимал всю безнадежность достигнуть познания вещей самих в себе и всю необходимость определить прежде всего пределы человеческого знания; он ясно сознавал полную невозможность абсолютного и трансцендентного знания и ограниченность наших мыслительных и познавательных способностей в пределах опыта, всегда имеющего характер относительности. Сомнение, которое Вольтер восхваляет в учении Локка, не имеет ничего общего с теми душевными колебаниями, которые в наши дни стяжали себе неумеренное и поэтическое восхваление как благородное сомнение, которое будто бы заключает в себе больше истинной веры, чем половина символов обычной веры. Сомнение Локка не было сентиментальным детским плачем об отсутствии света; это отнюдь не было религиозное сомнение, а только философское, и касалось лишь вопроса о возможности онтологического⁶⁸ знания, причем как основы веры, так и практическая жизнь оставались совершенно в таком же виде, как они были. Непреодолимое стремление к реальному влекло ум Вольтера к тому писателю, который своим строгим приговором закрыл путь в страну метафизических грез и рассеял неумеренные притязания априорных достоверностей, ни к чему не приводящих и ничего не доказывающих. Чуткий инстинкт Вольтера ясно подсказывал ему, что люди могли бы посвятить себя на служение великой общественной задаче совершенствование человеческого рода, если бы перестали сосредоточивать свое внимание на неразрешимых вопросах; а Локк длинным путем пришел именно к тому же и показал, насколько неразрешимы вопросы, привлекающие к себе самые деятельные умы Европы со времени упадка теологии.

Само собой разумеется, что взгляды Вольтера на возникновение идей, на вопрос о том, всегда ли душа находится в деятельном состоянии, на причину падения яблока, на неизменное

⁶¹ *Николя Мальбранш* (Nicolas Malerbanche, 1638–1715), продолжатель де Карта. Главное его произведение: «*De la recherche de la verité*», 1674.

⁶² *Dictionnaire Philosophique*, s. r. Locke; Oeuvres, XLI. p. 447.

⁶³ *Согр.*, 1736; Oeuvres, LXIII, p. 23.

⁶⁴ *De Maistre J. Soirées de St. Petersburg*, 1850, I, p. 403.

⁶⁵ *Согр.*, 1737. Vol. LXIII, p. 154.

⁶⁶ *Ibid.*, p. 248; LXII, p. 276.

⁶⁷ *Lettres sur les Anglais*, XIX; Oeuvres, vol. XXXV, p. 102–105.

⁶⁸ Онтология – наука об общем познании вещей (часть метафизики).

вращение планет по их орбитам приобрели более научный характер. Но все это, вместе взятое, имело для него менее важное значение, чем то глубокое и живое чувство, какое пробудилось и заняло первенствующее место в его душе при созерцании безграничных областей знания, впервые открытых отважными, но вместе с тем и вполне надежными исследователями английской мысли. Это чувство Вольтера свидетельствовало о благородной вере в способность ума при помощи исследований, основанных на опыте, достигнуть истины о вере, пылкость которой не мешала ее устойчивости, – и вместе с тем о глубоком уважении к истине как к могучей силе, приносящей человеческому роду щедрые и неисчислимые дары. Этим объясняется то оживленное отношение, которое сказалось в примечаниях, сделанных в то время Вольтером (1728) на знаменитые «Мысли Паскаля». Тогда на эти примечания посмотрели как на смелую сатирическую выходку легкомысленного поэта, направленную против глубокомысленного философа, – на деле же они были живым протестом здравого смысла против натянутого, болезненного и часто софистического представления человеческой природы и условий человеческого существования. Вольтер бросил луч света сквозь облако того сомнения, на котором Паскаль⁶⁹ построил защиту мистицизма. Если бы у Вольтера и не встречалось косвенных намеков на Локка, то и без них было бы понятно, у кого он научился этому искусству настаивать на относительности всяких утверждений выражать их в терминах⁷⁰, поддающихся определению, и относиться с большей осторожностью к скользким и незаметным переходам от метафоры к действительности и от термина, раз употребленного в его обыденном значении, к тому же термину в его трансцендентном значении.

Между тем Паскаль благодаря именно таким переходам, кажущимся противоречиям жизни и мнимой ее ничтожности выставил их в таком утомительно ярком и искусственном свете: «Эти мнимые противоположности, называемые вами противоречиями, составляют необходимые свойства человеческой природы, которая, подобно остальной природе, такова, какой ей надлежит быть по своему существу»⁷¹. Может ли истинно мудрый человек прийти в состояние безнадежного отчаяния только от того, что он не в силах вполне точно объяснить себе основы своего мышления, от того, что он знает только некоторые свойства материи, и наконец, от того, что Бог не открыл ему всех тайн? После этого ему пришлось бы прийти в отчаяние, почему он не обладает четырьмя ногами и двумя крыльями⁷². Эти разумные мысли Вольтера имели в виду восстановить в людях чувство самоуважения и возвратить к жизни разум, который Паскаль так унижил и пограл. Сила разума, положительные подвиги которого Вольтер сам видел в Англии, привела его в восторг и внушила ему уверенность в будущности расы, обладавшей таким могучим орудием. «Что за необыкновенная страсть у некоторых людей настаивать на том, что все мы несчастны! Эти люди похожи на шарлатана, желающего во что бы то ни стало уверить вас в том, что вы больны, чтобы продать свои пилюли. Возьми, мой друг, назад свои зелья и оставь мне мое здоровье»⁷³.

С этого же времени в душе Вольтера зародилась и его горячая ненависть к предрассудкам, низкому себялюбию, вредным сословным и служебным привилегиям, праздности, упрямству, распушенной фантазии и ко всем другим несчастным наклонностям человеческой природы и различным мучительным, но роковым стечениям обстоятельств – ко всякому вообще мраку, заслоняющему перед человечеством благодетельный свет его собственного разума, этого солнца вселенной. Отсюда, по необходимой логике суждений, проистекло нескрываемое неуважение Вольтера к громким именам бесчеловечных завоевателей, а также и его равноду-

⁶⁹ *Блез Паскаль* (Blaise Paskal, 1623–1662), философ и математик. После его смерти в 1670 г. явились его «Pensées sur la religion».

⁷⁰ *Oeuvres*, vol. XLIII, p. 77.

⁷¹ *Ibid.*, p. 20.

⁷² *Ibid.*, p. 26.

⁷³ *Согт.*, 1737; *Oeuvres*, vol. LXIII, p. 248.

шие к внешним и материальным условиям жизни наций – условиям, которые поражают чувства, но ничего не говорят серьезному уму. «Недавно, – писал он однажды, – в одном избранном кружке разбирался пошлый и пустой вопрос о том, кто самый великий человек: Цезарь, Александр, Тамерлан или Кромвель. Кто-то заметил, что Исаак Ньютон есть, несомненно, самый великий человек. Он был прав: ибо если истинное величие человека состоит в полученном в дар от неба могучем разуме и в пользовании этим разумом для просвещения себя и других, то такой человек, как Ньютон – а подобных людей едва ли можно насчитать одного в течение десяти столетий, – есть поистине великий человек... Ему, владычествующему над нашими умами силой истины, а не тем, кто поработает людей насилем, – ему, понимающему природу мира, а не тем, кто искажает ее, ему мы обязаны воздавать наше уважение»⁷⁴. Все это нам может показаться так же тривиально, как в глазах Вольтера был пуст вопрос, вызвавший эти мысли; но, во-первых, мы должны вспомнить, как все это было ново, даже просто, как идеи в покинутой Вольтером Франции, и, во-вторых, что в Англии даже в наше время, несмотря на внешнее признание этих идей, нет ни одного недостойного имени, которое было бы в таком пренебрежении и вместе с тем так затаскано, как имя мыслителя, и не только среди громадного большинства обыкновенной черни, но и той особенной черни, которая берет на себя смелость поучать других в прессе и с кафедры.

Открытие Нового Света не так поразило воображение и не в такой степени способствовало пробуждению умственной деятельности Европы, как первое знакомство французского мыслителя с этой новой областью знаний. Но не одно только движение в сфере мышления обратило на себя внимание Вольтера в Англии; он, кроме того, глубоко проник и понял социальное различие между страной, действительно, хотя и не вполне, освободившейся от феодализма и своим собственным отечеством, где феодализм был только преобразован в систему, еще более репрессивную и еще менее способную вести нацию к свободному и деятельному развитию по пути новой цивилизации. Достоин внимания, что хотя Вольтер водил дружбу и имел покровителей среди лиц, принадлежавших к привилегированному классу в Париже, однако он настолько был поражен злом, вытекающим из системы привилегий, что тотчас же обратил внимание на отсутствие подобного зла в Англии и усиленно старался понять, хотя и не вполне успешно, причину такого преимущества последней. Подушная подать, система раскладки и способ собирания ее были в действительности вопиющим злом во Франции. В Англии, как заметил Вольтер, крестьянин не трет своих ног деревянными башмаками, ест белый хлеб, прилично одет, не боится сберегать имущество или покрывать крышу своего дома черепицей из страха увеличить налог будущего года. Затем он вкладывает свой перст еще в одну из язв Франции, в сильной степени препятствующей развитию компактного и солидарного общества, когда он обращает внимание на громадное число фермеров в Англии, получающих пять или шесть сотен фунтов стерлингов годового дохода и не считающих для себя унижительным обрабатывать ту землю, которая дает им богатство и на которой они пользуются полной свободой⁷⁵. Во Франции было не то. Самый серьезный современный исследователь положения французского общества в восемнадцатом столетии видит в стремлении каждого жителя этой страны, собравшего небольшой капитал, бросить деревню и купить место в городе – факт, который принес земледелию и торговле больший вред, чем даже сама подушная подать и ремесленные цехи⁷⁶.

Вольтер поражен был и тем, что в Англии никто, будь он дворянин или духовная особа, не изъят от налога и что палата общин, выдающая дела о налогах, занимая второе по достоинству место после палаты лордов, в законодательном отношении стоит выше последней⁷⁷. Проница-

⁷⁴ *De Maistre J.* Op. cit., ch. XIII; Oeuvres, XXXV, p. 95.

⁷⁵ *Lettres sur les Anglaise*, ch. X; Oeuvres, XXXV, p. 81.

⁷⁶ *De Tocquille.* Ancien Régime, liv. 11, ch. 9, p. 137.

⁷⁷ Oeuvres, XXXV, p. 80.

тельность, которой обладал Вольтер, дала ему возможность понять, какое громадное значение имеет сближение всех классов и сословий на почве самых обыденных занятий: он с удивлением вспоминает случаи, в которых младшие сыновья пэров обращались к торговым занятиям. «Каждый мот, приехавший в Париж из глуши какой-нибудь отдаленной провинции с деньгами в кармане и с фамилией, оканчивающейся на *ас* или *илле*, иначе не говорит, как «такой человек, как я» или «человек с моим положением»⁷⁸, и смотрит на всякого купца с высоты своего величия. Купец же, слыша, как часто о его профессии отзываются с презрением, краснеет по своей глупости за нее, а между тем еще неизвестно, кто более полезен государству: напудренный лорд, которому в точности известно время, когда король встает и когда он ложится спать, и который с величавым видом разыгрывает роль раба в передней министра, или же купец, который обогащает свою страну, рассылает инструкции из своей конторы в Сюрат или Каир и таким образом способствует благосостоянию всего земного шара»⁷⁹. Понятно, какое бешенство вызвали эти сравнения, вынесенные Вольтером из его наблюдений над Англией, в сфере тех французов, которым пришлось при этом играть такую жалкую роль. Поэтому, ничего нет удивительного, что декретом парижского парламента (1734) «Письма об англичанах» были осуждены на публичное сожжение как произведение скандальное и несогласное с благопристойностью и должным почтением к властям и начальствующим лицам.

Мы, англичане, читая эти «Письма» Вольтера, поражаемся отсутствию в них серьезного исследования наших политических прав и наших свободных конституционных форм; здесь вы найдете хорошую главу о Бэконе, главу об оспопрививании, несколько глав о квакерах, но о государственной конституции едва ли встретите хотя одно действительно ценное слово. Этого мало: в них нет никакого намека на то, чтобы Вольтер придавал должное или сколько-нибудь важное значение народным формам правления ганноверского периода или чтобы он ясно сознавал, что свобода, которая так поразила его и была так дорога для него в области философской и литературной деятельности, была прямым результатом общего духа свободы, естественно зародившегося в народе, привыкшем принимать деятельное участие в управлении своими общественными делами. Вольтер обожал духовную свободу, а к свободе гражданской он, кажется, всегда относился с крайне сдержанным и скорее только внешним уважением. Это объясняется тем, что при всей пронизательности своего ума Вольтер все же не мог понять, что те широкие гражданские права и их неприкосновенность, которыми пользовались англичане, были главной причиной не только материального благосостояния, так поразившего его, и легкой подвижности разграничительной черты, отделявшей аристократию от промышленных классов, но также и того факта, что Ньютон и Локк могли вполне спокойно отдаваться свободному течению своих мыслей, не страшась наказания за свои научные выводы, а также, наконец, и того не менее важного факта, что всякие философские выводы могли стать достоянием общества без вмешательства двора, университета или официального трибунала. Вольтер, несомненно, удивлялся английскому парламенту, потому что материальные и второстепенные преимущества, приводившие его в восхищение, очевидно, были следствием парламентарной системы. Но люди часто упускают из виду, что эти преимущества не были бы тем, что они есть, если бы были дарованы абсолютным монархом, и что политическая деятельность всей нации выражается в массе различных, хотя и косвенных, но могущественнейших проявлений, но что ее не должно в этом отношении ценить более, чем за ее прямые и самые осязательные результаты. Правда, в одном месте Вольтер замечает, что почести, воздаваемые литераторам в Англии, являются следствием образа ее правления, но тон его речи по этому поводу обнаруживает недостаточное и неправильное понимание истинного значения формы правле-

⁷⁸ Читавший «Задига» (Zadig) пусть вспомнит «*homme comme moi*» и его несчастное приключение в Вавилоне. Oeuvres, LIX, p. 153–9.

⁷⁹ Lettres sur les Anglais, XI; Oeuvres, XXXV, p. 85.

ния. «В Лондоне, – говорит он, – около восьмисот человек пользуются правом говорить публично и поддерживать интересы нации; около пяти или шести тысяч добиваются в свою очередь этих прав, а все остальные являются судьями тех и других, и каждый может печатать все, что он думает. Таким образом, нация сама руководит собой. Во всяком разговоре приходится касаться вопроса о формах правления в Афинах и Риме, а потому является необходимость изучать авторов, обсуждавших эти вопросы. Это, естественно, порождает любовь к внешней образованности»⁸⁰. Подобное рассуждение показывает, однако, что Вольтер смешивал сущность формы народного правления с одним из весьма обычных ее спутников. Если благодаря такому правлению образование получает широкое развитие – положение весьма, впрочем, сомнительное, – то это не потому, что избиратели побуждаются к просвещению желанием понимать исторические намеки своих кандидатов, но потому, что всеобщее возбуждение и вся общественная деятельность стремятся привести в движение все жизненные силы. Политическая свобода не производит гениев, но ее атмосфера более всякой другой благоприятствует им наилучшим образом посвятить силы свои на служение человечеству.

В этом, как и во многом другом, Вольтер удовольствовался живым и поверхностным пониманием дела. Пусть читатель вспомнит встречу Вольтера с лодочником на Темзе, который, видя перед собой француза с его вполне характерными признаками благовоспитанности, воспользовался случаем, грубо и крупно ругаясь, заявить, что он «лучше желает быть лодочником в Англии, чем архиепископом во Франции». На следующий день Вольтер, увидя того же лодочника в тюрьме и в цепях, выпрашивающим милостыню у прохожих, спросил, – думает ли он теперь так же, как вчера об архиепископах во Франции. «Ах, сударь, – вскричал тот, – что за подлое наше правительство! Меня взяли силой и заставляют служить на королевском корабле в Норвегии. Они оторвали меня от жены и детей, бросили в тюрьму и, боясь моего бегства, недели до отправки на корабль оковы на мои ноги». Один соотечественник Вольтера признавался, что он почувствовал при этом зловещую радость, услышав, что люди, постоянно упрекающие французов за их рабство, сами на деле такие же рабы. Что же касается меня, говорит Вольтер, во мне заговорило более гуманное чувство: я был огорчен тем, что на земле нет свободы⁸¹.

Рассказанный Вольтером случай вполне уместен как комментарий гнусности насильственной вербовки, но, кроме того, здесь, как и вообще у Вольтера, обнаруживается некоторая путаница, смешение двух весьма отличных друг от друга понятий, которые в его время и впоследствии обозначались одним общим названием гражданской свободы. В одном отношении, имеющем, несомненно, громадное значение, гражданская свобода означает понятие только отрицательного характера и предполагает отсутствие в большей или меньшей степени произвольного контроля, вмешательства власти в личную деятельность, домогательства со стороны какой-нибудь организованной группы препятствовать каждому члену общества делать или не делать того, что он считает себя вправе, лишь бы только каждый в свою очередь относился с должным уважением к свободе всех остальных сограждан.

Свободу в этом смысле Вольтер прекрасно понял и оценил так глубоко, как она того заслуживает. Но политическая свобода означает не только невмешательство, но и прямое участие. Если в одном смысле понятие о свободе имеет отрицательный характер и выражает собой доктрину прав, то в другом оно заключает в себе вполне положительное содержание и является священным кодексом обязанностей. Свобода, сделавшая Англию страной, которая так восхитила и вдохновила Вольтера, была в такой же мере свободой первого, сколько и второго рода. Свобода эта проистекает из национального качества англичан, их независимого и неустанного интереса к ведению дел нации теми лицами, которых эти дела наиболее касаются; она происте-

⁸⁰ *Lettres sur les Anglais*, I; *Oeuvres*, XXXV, p. 172.

⁸¹ *Lettres sur les Anglais*, I; *Oeuvres*, XXXV, p. 31.

кает из всеми сознаваемой обязанности иметь определенное мнение относительно тех или других общественных дел, из признания правительствами, что решение общественного мнения есть необходимая санкция для всякой политики, которая вызывает развитие действительных сил государства. Правда, случалось, это общественное участие в общественных делах обнаруживало полное невежество и слепоту, как это и было не раз показано с полной очевидностью, но так или иначе, а в этом общественном участии заключается вся сущность политической свободы.

Великие люди Франции, наиболее характерные представители своего народа, ценя результаты нашей свободы и с завистью смотря на лучшие из них, не сумели, вообще говоря, понять, что самая характерная черта англичан в те еще времена, когда характер их отличался большей цельностью, чем теперь, была следствием двух условий: во-первых, свободы и заботливости каждого гражданина составить себе то или иное мнение о системе правительственных дел и роде их и, во-вторых, свободного и независимого участия, которое многие граждане – какого бы звания они ни были, какую бы должность они ни занимали – принимали в контроле своего правительства и в его делах. Для примера укажем на Монтескье. Он прибыл в Англию в то время, когда Вольтер оставил ее и изучал внимательно те факты политической жизни, к которым его великий соотечественник отнесся так пренебрежительно. Однако он недостаточно глубоко понял характер и дух английских учреждений: по его мнению, вся тайна порядка и свободы в Англии заключалась в равновесии, благодаря ее конституции общественных сил. Несмотря на это, Монтескье был все-таки гораздо дальновиднее большинства своих современников, потому что он обратил, по крайней мере, внимание на одно из действительно существенных достоинств нашей конституционной свободы, хотя и не заметил других еще более важных сторон ее. Государственные люди и публицисты во Франции систематически закрывали глаза на ту великую истину, что национальное благосостояние может быть создано королевскими предписаниями и пожеланиями, и что всякий народ сознательно будет отказываться от счастья, пока оно не наступит желаемым им образом. Физиократы, которые были, несмотря на свои заблуждения, наиболее выдающимися научными мыслителями по специальным вопросам во Франции, не могли подняться выше идеи общественного строя, в основе которой лежит верховная власть мудрого и благодетельного монарха, осыпающая милостями своих подданных. Тюрго при всей широте и проницательности своего гения, получив через сорок пять лет власть в свои руки, строго придерживался той же идеи законов в форме милостивых указов абсолютной власти. Политические взгляды Вольтера также никогда не подымались выше наивного мировоззрения восточной повести о добром деспоте и мудром визире. Таким образом, Вольтер не вынес из посещения и изучения Англии истинного понимания сущности и принципов английских учреждений, а между тем знакомство с ними было бы гораздо полезнее для его сограждан знакомства с оспопрививанием.

На первый взгляд покажется непонятным, почему на Вольтера произвела особенно сильное впечатление секта, положившая в основу своего учения идею, что христианство должно, во всяком случае, следовать примерам своего учителя и главы, в то время как вся масса разнообразных теологических мнений, получивших в Англии благодаря протестантизму такое развитие, оставила в нем лишь смутное впечатление. Мы знаем, как смешна и чудовищна казалась система квакеров тем людям, которые были посвящены с самой ранней юности в тщательно выработанные системы сокровенных метафизических догм, мистических обрядов, иерархических установлений и при полном осуждении разных других соперничающих вероучений. Воображение Вольтера было поражено этой сектой, которая исповедовала религию Христа как учение о простоте и суровой дисциплине в жизни, отвергала обрядность и считала войну самым худшим из антихристианских обычаев. Формы и доктрины господствующей церкви в Англии Вольтер был склонен считать только за одну из обыденных форм ее национальных учреждений; он смотрел на господствующую церковь просто как на своего рода английское

средство ограничить деятельность разума и водворить общественный порядок. Но эта идея была идеей того века, и Вольтер действительно мог смотреть на англиканскую церковь как на временно полезное и как бы государственное учреждение. Он относится с похвалой к ее духовенству за его в высокой степени правильный образ жизни. «То неопределенное существо, которое не принадлежит ни духовному, ни светскому миру – одним словом, существо, называемое аббатом (abbe), – составляет неизвестную породу в Англии; все духовные здесь напыщенно глупы и почти все педанты. Когда им говорят, что во Франции молодые люди, известные своим распутством, достигнув благодаря интригам женщин высокого духовного сана, не скрывают своих любовных похждений, забавляются сочинением эротических стишков, устраивают каждый день обильные и роскошные ужины и, сыто наевшись, встают из-за стола с молитвой о сошествии на них Святого духа, дерзко называя себя преемниками апостолов, – тогда они благодарят Бога, что они протестанты⁸².

Но если англиканский священник есть истинный Катон, в сравнении с тем молодым и веселым французом, который, получив ученую степень, по утрам преподает в школах крикливым голосом теологию, а по вечерам поет с дамами нежные романсы, то этот Катон в свою очередь уже вполне, конечно, светский человек в сравнении с шотландским священником, который со степенной осанкой и кислой миной читает проповеди в нос и называет вавилонской блудницей всякую церковь, где некоторые духовные счастливицы получают пятьдесят тысяч ливров годового дохода. Тем не менее здесь каждый человек избирает тот путь в рай, какой ему нравится. Если бы в Англии было одно вероучение, оно угрожало бы деспотизмом; если б их было два, они перерезали бы друг другу горло; но их тридцать – и они мирно и благополучно уживаются вместе⁸³. В секте квакеров Вольтер видел нечто большее, нежели одни чисто политические стремления и междоусобные распри по вопросам доктрины, которыми характеризуются другие секты. Трудно решить, чем, в сущности, были вызваны благосклонные отзывы Вольтера о квакерах: искренним ли сочувствием к их простой, благородной и мирной жизни, или злостным желанием воспользоваться этими похвалами как орудием для осуждения их, слишком много о себе думающих соперников. Вообще в рассказе Вольтера об этой секте нельзя не заметить его искреннего и живого отношения к ней, и, читая его, каждый убеждается в неподдельных симпатиях Вольтера к тому религиозному учению, которое приглашает людей руководиться в жизни гуманными, мирными и возвышенными наставлениями Христа, отбросив обряды, церемонии и жреческие чины. Благородные социальные теории «Общества друзей» произвели на Вольтера более сильное впечатление, чем их пассивное отношение к практической общественной деятельности, что в его глазах было унижительным педантизмом. Отказавшись подчиняться различным общественным обычаям и приличиям, хотя они и основывали это на греховности знаков почтения, оказываемых простому смертному, – способствовали развитию сознания равенства и чувства самоуважения в последнем смертном, который никому не кланялся и ни перед кем не стоял с обнаженной головой. Но более всего этого Вольтер не мог не сочувствовать секте, которая поднялась так высоко над зверством военного режима и положила мир в основу христианской веры и добродетельной жизни, так как неприимимая ненависть самого Вольтера к войне является поистине вполне современным гуманизмом и заслуживает наибольшего с нашей стороны уважения. «Мы не идем на войну, – говорят квакеры у Вольтера, – не из страха смерти, но потому, что мы не волки, не тигры, не собаки, а христиане. Наш Господь, повелевши нам любить даже врагов и переносить несчастья без жалобы, конечно, не допускал мысли о том, что мы будем переплывать моря и резать горло нашим братьям в угоду разбойникам, которые, одевшись в красное платье и шляпы в два фута, вербуют граждан, производя грохот двумя палочками по туго натянутой ослиной коже. Когда

⁸² Lettres sur les Anglais, VI; Oeuvres, XXXV, p. 62.

⁸³ Ibid., VII, p. 62–65.

после одержанной победы весь Лондон, ликуя, залит светом иллюминации, а к небесам взвиваются ракеты и воздух оглашается звуками колоколов, органов и пушек, тогда мы оплакиваем в тиши убийство, послужившее причиной общественной радости»⁸⁴.

Вольтер не был вовсе дилетантом-путешественником, который строит свои обобщения и выводит теории об общественной жизни из собственного сознания без действительного изучения предмета. Ни один немец не мог бы изучать прилежнее Вольтера факты, и мы заметим здесь раз и навсегда, что если и приходится часто обвинять Вольтера в поверхностном отношении к делу, отсутствии глубины, то это в редких случаях зависело у него от недостатка трудолюбия. Его обыкновенная ясность выражения скрывает от наших глаз всю массу сознательно затраченного им труда на изучение материалов. Даже самый знаменитый французский эмигрант, которого свободная Англия принимала у себя в наше время и который был одарен гораздо более Вольтера могучей силой творческой фантазии, и тот не имел достаточно любознательности, чтобы изучить язык страны, которая в течение двадцати лет давала убежище. Вольтер же в продолжение нескольких месяцев изгнания с таким совершенством овладел английским языком, что мог не только читать и восхищаться Гудибрасом⁸⁵, но даже преодолел чрезмерные затруднения и переложил отрывки из этого сочинения недурными французскими стихами⁸⁶. Рассуждение об английской эпической поэзии и один акт трагедии Брут были написаны им на английском языке.

Вольтер читал и тщательно изучал Шекспира; он утверждал, что Мильтон составляет такую же славу Англии, как и Ньютон, и не жалел трудов не только для того, чтобы овладеть тайной творческой силы Мильтона и оценить ее, но и для того, чтобы ознакомиться до мельчайших подробностей со всей его жизнью⁸⁷. Вольтер изучал Драйдена, «который пользовался бы незапятнанной славой писателя даже и тогда, если бы написал десятую часть своих творений»⁸⁸. Он считал Аддисона первым англичанином, который написал разумную трагедию, а характер Аддисонова Катона – «одним из совершеннейших драматических характеров»⁸⁹.

Уичерли⁹⁰, Ванбру⁹¹ и Конгрива⁹² Вольтер ценил гораздо выше, чем ценит в настоящее время большая часть их же соотечественников; одним актом из драмы Лилло⁹³ он воспользовался для четвертого акта своего Магомета. Рочестера⁹⁴, Уоллера⁹⁵, Прайора⁹⁶ и Поупа⁹⁷ он читал со вниманием и искренно удивлялся им, как они того заслуживали. Даже много лет спустя после отъезда из Англии он ставил Попа и Аддисона по разнообразию их таланта на одинаковой высоте с Макиавелли, Лейбницем и Фонтенелем⁹⁸; Поп, очевидно, в течение долгого времени был его настольною книгой Свифта, – считая его в своем роде Рабле, – он ставит выше последнего и указывает по обыкновению достаточно веские для этого основания: Свифт, справедливо замечает он, не обладает веселостью Рабле, такую глубиной, таким пониманием,

⁸⁴ *Lettres sur les Anglais*, II; Oeuvres, XXXV, p. 42.

⁸⁵ Шутливая поэма Самуэля Батлера (Samuel Butler, 1612–1680), высмеивавшая пуритан.

⁸⁶ Oeuvres, XXXV, p. 42.

⁸⁷ *Essence sur la Poésie Epique*. Oeuvres, XIII, p. 445, 513–526.

⁸⁸ Oeuvres, XXXV, p. 155.

⁸⁹ *Ibid.*, p. 159.

⁹⁰ Уильям Уичерли (William Wycherley, 1640–1715), автор многих комедий.

⁹¹ Ванбру (Sir John Vanbrugh, 1666–1726) – тоже.

⁹² См. выше.

⁹³ Лилло (Lillo, 1693–1739), основатель мещанской трагедии.

⁹⁴ Граф Рочестер (John Wilmot Rochester, 1647–1680), лирик и юморист.

⁹⁵ Эдмунд Уоллер (Edmund Waller, 1605–1687), лирик.

⁹⁶ Мэтью Прайор (Matthew Prior) – см. выше.

⁹⁷ Александр Поуп (Alexander Pope, 1688–1744), даровитейший из английских псевдоклассиков.

⁹⁸ Согт., 1736; Oeuvres, LXIII, p. 4, 60.

разнообразием и таким вкусом, каких не доставало Медонскому священнику⁹⁹. По части философии Вольтер, кроме Локка, очевидно, был несколько знаком с Гоббсом, Беркли и Кудуорсом (Cudworth)¹⁰⁰. «Постоянно, однако, – говорит он, – я возвращался к Локку усталый, измученный и пристыженный тем, что искал так много истин, а находил так много химер. Подобно блудному сыну, возвращающемуся к своему отцу, я бросался в объятия этого скромного мыслителя, который никогда не делает вида, что он знает то, чего не знает, но который обладает хотя действительно не огромным, но зато вполне обеспеченным достоянием»¹⁰¹.

Вольтер не ограничивался изучением наук философии и поэзии, он занимался также теологией и основательно ознакомился со знаменитой деистической полемикой, начало которой было положено еще в первой половине семнадцатого столетия лордом Гербертом Чербэри¹⁰², корреспондентом Декарта и одним из первых английских мыслителей метафизиков¹⁰³. Герберт имел в виду освободить и сделать независимыми наши идеи о единой верховной силе и наши представления о добре и зле от откровения. Толланд¹⁰⁴, которого, как мы знаем, Вольтер тоже читал, задавался целью освободить католичество от мистицизма и подорвать доверие к различным суевериям. В 1724 году Коллинс издал свое «Рассуждение об основах и началах христианской религии»; немногие книги, говорят, вызвали так много шума, как эта, при своем первом появлении. Пресса во все время пребывания Вольтера в Англии была занята защитой аргументов Коллинса, возражениями против них и ответами на возражения¹⁰⁵. Но ни один из современных свободных мыслителей не сделал бы из положения выставленного Коллинсом центрального пункта своего нападения, и едва ли кто-нибудь из современных апологистов взял бы на себя труд отвечать на него. Коллинс утверждал, что Иисус Христос и апостолы верили в историческую достоверность ветхозаветных пророчеств, а потом доказывал, или пытался доказать, различными путями, что эти пророчества такой достоверности иметь не могут. Весьма понятно, что Вольтер при своей живой любознательности глубоко заинтересовался горячей полемической борьбой, возбужденной этим знаменитым спором.

Рассуждения Вульстона (Woolston), который доказывал, что чудеса Нового Завета имеют такой же мистический и аллегорический характер, как и пророчества древности, появились в то же самое время и имели громадный успех.

Вольтер был сильно поражен той грубостью и дерзостью, с какой этот писатель обходился с легендами о чудесах, и статья о «Чудесах» в «Философском словаре» показывает, с каким вниманием он изучил книгу Вульстона¹⁰⁶. В письмах Вольтера и в иных местах его сочинений встречаются ссылки также на Шефтсбери¹⁰⁷ и Чобба¹⁰⁸, но Вольтер не удивлялся и не восхищался этими последними¹⁰⁹. Более всего оказал на него влияние и самым задушевным его другом был Болингброк. Не боясь преувеличения, можно утверждать, что под непосредственным влиянием именно Болингброка сложились убеждения Вольтера по религиозным вопросам и

⁹⁹ Oeuvres, XXXV, p. 189, 190.

¹⁰⁰ О Беркли см. Согг., 1736, Oeuvres, LXIII, p. 130, 164 etc., а об остальных двух см.: Le philosophe Ignorant. Oeuvres, XLIV, p. 47, 69.

¹⁰¹ Ibid., p. 47.

¹⁰² Lord Herbert of Chisbury. Главные его произведения: «De Veritate» 1624 и «De religione gentilium» 1645. О его значении см. Геттиер Г.-Т. Указ. соч. С. 25 и след.

¹⁰³ «De Veritate» было издано в 1624 г.

¹⁰⁴ Джон Толанд (John Toland), род. 1670(71), ум. 1722.

¹⁰⁵ См. список писателей от 1725–1728 в «Обозрении деистических писателей» Леланда (*Leland J. View of the Deistical Writers*, vol. I.)

¹⁰⁶ Oeuvres, LVII, p. 107–114.

¹⁰⁷ Энтони-Эшли Купер, граф Шефтсбери (Shaftesbury, 1671–1713), моралист и философ.

¹⁰⁸ Томас Чобб (Thomas Chubb, 1679–1747), по профессии простой ремесленник, один из выдающихся деистов. Главное его произведение – «Истинное евангелие Христа» – вышло в 1738 г.

¹⁰⁹ Согг., p. 1736–1737; Oeuvres, LXIII, p. 60, 86, 112.

что почти всякое положительное и несколько более умеренное мнение его в этом отношении носит на себе печать блестящего, но беспорядочного гения Болингброка. Вольтер не всегда соглашался с его оптимизмом, но даже спустя долгое время, а именно в 1767 году, решил, что полезно будет воспользоваться именем Болингброка для одного своего сочинения, направленного против суеверий народной религии¹¹⁰. Слог Болингброка отличался особенной легкостью и был вполне приличен; его скептицизм носил специально аристократический характер¹¹¹; это был остроумный, блестящий литературными знаниями, элегантно высокомерный скептицизм. Болингброк не обнаруживал никаких притязаний на сколько-нибудь серьезную критику теологических учений; на откровение он смотрел глазами образованного светского человека и возражал против него, исходя из тех общих соображений, какие в таком ходу среди людей, старающихся иметь правдоподобные мнения обо всех предметах и не берущих, однако, на себя труда серьезно ознакомиться хотя бы с одним из них.

Замечание Вильмена¹¹² о том, что нет ни одного сочинения Вольтера, которое не носило бы на себе следов его пребывания в Англии, в особенности верно по отношению ко всему написанному Вольтером против теологии. Действительно, английская критика, заронив в нем самую идею систематической и разумной борьбы, вооружила его также и всей аргументацией, необходимой для такой борьбы. Вольтер стоял перед массой доктринерского суеверия и общественных злоупотреблений, о которых даже сильнейшие умы в его отечестве имели обыкновение говорить до тех пор с холодной презрительной насмешкой и осторожными намеками и то только на ухо кому-либо из сочувствующих им. Кто из родившихся в течение последних сорока лет, спрашивает Бэрк, прочел хоть одно слово из Коллинза¹¹³, Толанда, Чобба, Морганана¹¹⁴ и из всего этого ряда людей признававших себя свободными мыслителями? Кто теперь читает Болингброка? Кто когда-либо прочел его всего, от начала до конца?¹¹⁵ Все это так, но сотни тысяч лиц, родившиеся в эти последние сорок лет, читали Вольтера, а Вольтер заимствовал свое оружие из арсенала этих, уже мертвых и нечитаемых, свободных мыслителей, оружие, которое он отточил насмешкой собственного гения. Он поднялся на вершину воздвигнутой ими лестницы, чтобы ниспровергнуть того идола католицизма, пред которыми падали ниц столь многие легковверные поколения. В таком совершенно преобразованном, виде, запоздалый и измененный, но непосредственно связанный со своим первоисточником, свободный и протестующий дух реформации проник наконец во Францию.

Нетрудно привести различные доказательства, свидетельствующие об отречении протестантских общин от протестантского принципа, указать массу примеров относительно ограниченности и омертвелости их догмы, а также относительно нетерпимости их учения; все это может быть превосходным ответом протестантам, обвиняющим католиков в преследованиях и в посягательствах на умственную независимость. Но все эти указания не могут, однако, опровергнуть того факта, что протестантизм явился косвенной причиной зарождения рационализма и распространения той атмосферы, в которой быстро возникли разные философские, теологические и политические направления, решительно враждебные старому порядку учреждений, старому строю мышления. Весь умственный склад претерпел решительную метаморфозу, которая явилась вместе с тем смертельным приговором для всяческого рода процветавших до тех пор догм. Напрасно мы искали бы логически точных соотношений между началом какого-либо движения и его концом; так и между правом свободного исследования и опытной

¹¹⁰ «Examen Important de Milord Bolingbroke». Oeuvres, XLIV, p. 89.

¹¹¹ См. Леклера: *Lechler J.-M. Geschichte des Englishen Deismus*, p. 396.

¹¹² Профессор Абель Франсуа Вильмен (Abel Francois Vilemain), род. 1790, ум. 1870.

¹¹³ Джон-Энтони Коллинз (Collins, 1676–1729), один из родоначальников деизма.

¹¹⁴ Томас Морган (Thomas Morgan), автор книги «Нравственный философ», вышедшей в 1737 г.

¹¹⁵ Reflections. Works (возможно имеется в виду собр. соч. Вольтера на англ. яз. – Примеч. ред.), 1842, vol I, p. 419.

доктриной психологии не больше прямой и логической связи, чем между опытной психологией и деизмом. Никто в настоящее время не станет утверждать, что следствия однородны со своей причиной, что существует объективное сходство между колосом пшеницы и тою влагой и теплотой, которые насыщали и растили его. Все же, доступное нашему наблюдению и изучению, Вольтер показывает, что провозглашение прав свободного суждения должно было привести к замене авторитета разумом, а традиции доказательством, как верховными принципами, решающими всякий спор; что политическое выражение этой перемены в гражданских войнах середины семнадцатого столетия естественно должно было усилить влияние нового принципа и привести в конце этого столетия к рационализму Локка, который немедленно из области метафизики переходит в область теологии.

Историки и вообще лица, изучающие великих деятелей, руководивших умственными движениями человечества, обыкновенно насилуют действительные события, стараясь установить строго систематическую связь между различными сторонами одного и того же верования и предполагая в преувеличенной степени сознательную логическую преемственность между идеями отдельных мыслителей. Критикуя какую-либо систему, обыкновенно вносят в нее ту законченность и точность, каких вовсе не существовало в суждениях известного лица, и отождествляют последнее с множеством выводов из принятых им посылок, которые, быть может, и логически вытекают из последних, но решительно никогда не приходили на ум самому автору и не имеют даже никакой связи с общим его характером. Философия большинства людей не есть что-либо цельное и связанное, а просто некоторая небольшая группа возможных и отчасти непоследовательных тенденций. Вгонять эти тенденции в какую-либо систему определенных формул составляет самый ложный и в то же время самый обиденный критический прием. В действительности немногие лица с исключительной склонностью к философии способны сознательно связывать в одно целое свои метафизические принципы с остальными сторонами своего мышления. У громадного же большинства, даже у людей наиболее даровитых, связь между их основной системой, какую критик может установить для них, и проявлениями их умственной деятельности имеет косвенный и крайне поверхностный характер.

Отсюда проистекает и недоверие ко всем этим столь привлекательным по своей стройности схемам, которые обращают Вольтера сначала в последователя сенсуализма Локка, а затем приводят его от этого сенсуализма к деизму. Мы уже видели, что Вольтер был деистом еще до поездки своей в Англию, а лорд Герберт Чербери был деистом раньше, чем Локк родился. Не переворот, произведенный Локком в метафизике, привел к деизму, но самый прием рассуждений его о метафизике – прием, немедленно же приложенный к теологии другими мыслителями, как врагами, так и защитниками ходячих мнений. Одним словом, Локк «рассуждал по здравому смыслу», – и этот обычай распространился. Умственная атмосфера в то время была наполнена возражениями против католичества, основанными на здравом смысле, а также и идеями о характере и происхождении наших понятий, основанными на том же здравом смысле. Ни для кого не могла быть так родственна подобная атмосфера, как для Вольтера, и мы не перестанем повторять ввиду обиденной репутации, заслуженной им благодаря его запальчивости и крайностям, что Вольтер был истинный гений здравого смысла, волей и неволей допускающая оговорку М. Кузена, что это был поверхностный здравый смысл. Утверждали, что во всех отзывах Вольтера о Декарте, Лейбнице и Спинозе виден человек, которому природа отказала в метафизическом уме¹¹⁶. Ничто не могло бы привести его к соглашению с этими мыслителями, и он никогда не пытался искать истину проложенными ими путями. Действительно, Вольтер не обнаруживал никаких способностей к метафизике, по крайней мере не более, чем к физическим наукам. Метафизика Локка оставалась непродуманной в его голове так же точно, как

¹¹⁶ Encyclopedie Nouvelle de Jean Reynand et Pierre Leroux, s. v. Voltaire, p. 736. Де Местр смело утверждает, что Вольтер не мог пойти дальше Локка (*De Maistre J. Op. cit.*, ch. V

в настоящее время в умах столь многих людей остается непродуманной теория эволюции, и можно заметить только слабое, не облеченное в определенные формы соотношение между главным полураскрытым девизом и остальными теориями. Когда Вольтеру приходилось считаться с другими метафизическими вопросами, он чувствовал, что его якорь спасения именно в этой метафизике Локка, и не особенно заботился проверять ее и подвергать настойчивой критике и тщательным исследованиям. Изучение Локка в окончательном результате привело Вольтера к систематическому следованию приемам мышления, основанным на здравом смысле, и он всегда обнаруживал недостатки и промахи, к каким неизбежно ведут эти приемы в тех случаях, когда их приходится прилагать к вопросам, требующим более чем одного только благоразумия, личного интереса и здравомыслия. Религия является именно предметом, который для правильного рассмотрения требует более всякого другого предмета иных способностей, чем только что указанный, а потому существенные недостатки в возражениях Вольтера против католической религии были именно следствием его близкого знакомства с деизмом английских мыслителей и инстинктивной склонностью к методу последних.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.